



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 7
volume 7**

Центр
«Петербургское Востоковедение»

Санкт-Петербург
1995

Сайсэй Муроо

Бабочки

Если говорить о смерти человека, то едва ли что-нибудь способно вызвать более сильное впечатление какой-то строгой чистоты, от которой рука невольно тянется оправить воротник одежды, чем смерть совсем еще юной девушки. И жизнь, и смерть девушки полны непередаваемого очарования. Когда из жизни уходит юное существо, еще не испытывавшее всего, что положено испытать человеку, — какую безутешную красотой веет от его смерти, и как неизмеримо обидно бывает за этот преждевременный уход.

Всякий раз, как Дзинкичи бывал очевидцем смерти девушки либо слышал об этом из чужих уст, его с новой силой охватывало горькое чувство обиды и укоризны, обращенное к кому-то вдаль. Да, именно, — обращенное к кому-то вдаль, хотя это выражение, быть может, и покажется бессодержательным, — трудно выразить иными словами истинный образ смерти.

Кимико, дочь Дзинкичи, была гимназисткой пятого класса. Она росла, вытягиваясь, словно молодая сакура. В гимназии их было шестеро — неразлучных подруг, всегда державшихся вместе, где бы они ни появлялись: на улице, в кинематографе, заходя куда-нибудь выпить чаю или поесть.

В доме Дзинкичи они бывали часто, приходили по очереди то в одиночку, то по двое, проводили с Кимико добрую половину дня за приготовлением уроков и за разговорами. Сначала Дзинкичи с трудом различал их: они казались все на одно лицо, и Дзинкичи даже удивлялся, до какой степени гимназистки похожи друг на друга. Только одна из них резко выделялась своим ростом. Она носила странное прозвище — Ямачин — и была ростом пяти футов с тремя дюймами, что для ее семнадцати лет казалось необычайным и бросалось в глаза.

При встрече с подругами дочери Дзинкичи здоровался с ними через сад легким кивком головы и ограничивался потом вопросом:

— Кто это был у тебя сегодня?

— А, это Ямачин, — следовал лаконичный ответ дочери без пояснения, что, собственно, значило это странное имя.

Приходила затем Курико — круглолицая пухлая девица, у которой, когда она была третьеклассницей, было всегда удивленное выражение глаз; начиная же с пятого, глаза стали глубокими и затемнились той тенью, какая бывает у девочек, расстающихся со своим детством.

Курико была дочерью владельца известного ресторана и, по-видимому, всегда делилась с Кимико завтраком, потому что Кимико часто говорила:

— Ах, какой вкусный кинтон¹ был сегодня у Курико!

¹ Пюре из сладкого картофеля с сахаром и каштанами.

Или:

— Ох, эта Курико! Подумаешь, какое лакомство — соленья из Каназава², а ей только их и подавай.

И Кимико заворачивала на завтрак, что было повкуснее, и несла в гимназию.

Когда приходила Курико, то они с Кимико все время шептались в комнате, где стояло пианино. Остальные подруги тоже держались тихо, стараясь не привлекать внимания посторонних, и разговаривали сдержанными голосами.

Трудно было сказать, откуда взялись ласкательные прозвища и трех остальных подруг: Тана, Токо и Сэночин. Тана происходила из района Ситамачи³. Черты характерной «мусумэ»⁴ в ней лишь наполовину сглаживались гимназической формой. Токо более других выглядела девочкой. В Сэночин было что-то от барышни из хорошего дома.

Все пять гимназисток никогда не называли друг друга настоящими именами, а обращались друг к дружке так:

— Ямачин, знаешь что?

Или:

— Послушай, Сэночин.

Если кто-нибудь вдруг звал: «Токо! Токо!» — то Токо сразу отзывалась: «Что-о?» — словно это было ее настоящее имя.

Дочь Дзинкичи, как сказано, носила имя Кимико, но подруги называли ее Мурокко.

— Мурокко! Мурокко! — звал кто-нибудь, и Кимико как ни в чем не бывало откликалась:

— Что тебе?

Жена Дзинкичи — Умэ — уже два года как лежала разбитая параличом. Навещать ее приходили только пять подруг Кимико. Было что-то странное и даже жуткое в этом зрелище, когда девочки появлялись в садике, стараясь бусшумно шагать по раскиданным камням дорожки, каждая держа по букету цветов в руках и, неизвестно почему, стараясь втянуть голову в плечи. Все они — здоровые и краснощекие, как на подбор, — останавливались среди садика и ждали, пока выйдет Кимико. Казалось, что от их плотных крепких фигур в одно мгновение рассыплется тонкая и изящная красота садика.

При виде подруг дочери Дзинкичи всякий раз поражался их большим ростом. Ему как-то не верилось, что они ровесницы Кимико. Но еще более поражался он, убеждаясь, что самой крупной из них была его собственная дочь. Он с удивлением думал тогда, какая она стала большая.

Встречаясь с Дзинкичи, девочки здоровались с ним кивком головы, не справляясь о состоянии больной и не говоря ни слова из полагающихся в таких случаях приветствий.

Как всегда, они усаживались на цыновках, сбившись в кучку, и сразу же принимались оживленно разговаривать тихими голосами. На-

² Город в префектуре Исикава.

³ Район мелких торговых предприятий в Токио, характеризующийся мещанскими вкусами его жителей.

⁴ Юная мещаночка.

говорившись досыта, они оставляли на циновках принесенные букеты и покидали дом. Они на цыпочках проходили по садику, должно быть, остерегаясь производить малейший шум, и Дзинкичи изумленным взором провожал их необыкновенно длинные косы, умилявшие его своею детскою красотою. Когда девочки изредка заговаривали о Дзинкичи, они бесцеремонно звали его по имени.

— Дзинкичи у Мурокко литератор, оттого он так и понимает ее, — с оттенком легкой зависти говорили они, критикуя своих отцов, словно хотели этим сказать, что литераторы более других отцов должны потакать своим дочерям.

Поэтому, когда Дзинкичи иногда упрекал Кимико в неэкономной трате денег, Кимико хмурилась и делала такое лицо, словно она в первый раз поняла, как жестоко ошибалась в своем отце.

— Вот все говорят, что ты меня понимаешь, а на самом деле — ни капельки понимания, — укоряла она Дзинкичи таким тоном, словно считала, что подруги несправедливо переоценивают его.

Дзинкичи, в свою очередь, отвечал ей со смехом:

— Ну, если к тебе относиться каждый раз с пониманием, так и половины месячного дохода не хватит на твои покупки. Нет, уж оставь: пусть лучше у меня не будет никакого понимания.

В начале лета Кимико заявила, что она хочет пригласить к себе на дачу всех пятерых подруг, чтобы провести это последнее в гимназической жизни лето вместе, так как в марте будущего года они окончат школу и разлетятся во все стороны. Дзинкичи ответил, что не имеет ничего против, если молодежь сама будет готовить себе пищу, какую хочет, и не будет затруднять прислугу, так как мать остается в Токио и заботиться о них будет некому.

— В этом году, наверное, в Синсюу не будет риса, так пусть твои подруги привезут с собою и рис, и все необходимое, ну, хотя бы на десять дней. А я, уж так и быть, предоставлю вам флигель: в нем две комнаты с циновками — в шесть и в пять дзё⁵ — и одна маленькая с деревянным полом — в два дзёо.

Пятеро подруг Кимико появились в Синсюу в самый разгар лета. Они начали с того, что сразу же извлекли из своего багажа холщевые мешки с рисом и передали их прислуге Харуко — девице родом из Синсюу, притом из самой глухой горной деревушки. Заинтересованная, какой рис едят в Токио, Харуко обследовала содержимое каждого мешка. Она насыпала себе рису на ладонь, смотрела его на свет и перебирала пальцами. Рис, привезенный Курико, вызвал у нее удивленный возглас:

— Поглядите, барин, какой рис, — в жизни такого не видала!

Дзинкичи плохо разбирался в сортах риса. Он решил, что раз привезла Курико, значит, это мог быть рис только заграничный. Курико была дочерью владельца известнейшего в Токио ресторана «Яодзэн».

Утром девочки, поднявшись от сна, шли в ванную комнату главного здания дачи. Завидев Дзинкичи, уже подметавшего в это время сад, они приветствовали его только коротким кивком головы, не говоря ни «доброе утро», ни «какая хорошая погода». Это был неподатли-

⁵ Площадь пола 6 футов × 3 фута.

вый народ, не любящий шуток, не признававший любезностей и малоприветливый.

«Отчего эти гимназистки так неприветливы?» — думал Дзинкичи, невольно сопоставляя их с женщинами совсем иного типа, с которыми ему больше приходилось иметь дело. Он чувствовал, как от этих девушек веяло ни с чем не сравнимой свежестью, какую-то первобытною нетронутостью. Совершенно не нужно было трудиться снискивать их расположение, можно было свободно предоставить их самим себе.

Девочки делали складчину по одной иене в день с человека, покупали на собранные шесть иен все нужное, вплоть до сладостей, и выделяли из этого даже долю Дзинкичи, когда тот присоединялся к их компании.

Часто они выкладывали на обеденный стол свои кошельки и начинали что-то долго подсчитывать. Казалось, что они не столько занимаются подведением итогов, сколько ласкают эти несчастные замызганные бумажные полтинники и никелевые гривенники, давая им отдохнуть от долгих и мучительных скитаний по человеческим рукам.

Несмотря на распоряжение возвращаться домой к пяти часам и ложиться не позже десяти часов ночи, они шумели у себя во флигеле почти до полуночи, когда Дзинкичи успевал увидеть уже не один сон. Казалось, что они хотели урвать время даже у сна, чтобы досыта наговориться, и только одна Ямачин, страдавшая болезнью дыхательных органов, ложилась раньше остальных.

— Что, Ямачин, спала сегодня ночью? — спрашивал кто-нибудь, на что Ямачин отвечала спокойным, безмятежным тоном:

— Успнешь с вами. Хоть бы потише шумели. Сегодня лягу в той комнате, в самый дальний угол, а то разговаривают с обеих сторон, на какой бок ни повернись, мешают, спать не дают. Задремала, было, потом проснулась, слышу — все еще разговаривают.

Промолвив это укоризненным тоном, Ямачин добавляла:

— А впрочем, я уже привыкла.

Все шестеро спали рядышком, подушка в подушку. Естественно, им трудно было удержаться от разговоров, которые не прекращались до тех пор, пока все не засыпало от усталости. Так повторялось каждую ночь. Голоса разговаривающих доносились через сад даже до кабинета Дзинкичи.

Ямачин позапрошлым летом тоже гостила около недели на даче у Дзинкичи и хорошо была знакома с флигелем. У ней были не в порядке легкие и желудок, что случается с детьми высокого роста, развивающимися неравномерно. Дзинкичи приказал прислуге уничтожать после Ямачин все палочки для еды, сколько бы их ни шло, и промывать в кипятке ее посуду. Об этом он сообщил и всем девочкам, которые с ним согласились и решили делать это потихоньку, чтобы не огорчать Ямачин.

Когда Ямачин смеялась своим осторожным сдержанным смехом, лицо ее светилось какой-то материнской мягкостью. словно стесняясь своего роста, она при этом немного втягивала голову в плечи. Дзинкичи так привык к ее удобному смешному прозвищу, что и сам стал звать ее просто Ямачин. Это прозвище сделалось известным даже сре-

ди студентов, нанимавшихся на лето в аптеку Бретта, и когда девичья компания проходила мимо аптеки, они выкрикивали:

— Ямачин! Ямачин!

При виде Дзинкичи они конфузились и скрывались в аптеке.

— Дядя, у вас нет книги Акаси Унато? — однажды обратилась с необычным вопросом Ямачин к Дзинкичи, сидевшему в чайной комнате за чашкой чая. Комната была небольшая, всего в четыре с половиной дзё, но светлая и спокойная, выходящая в сад. Ее циновки, казалось, граничили прямо с зеленью деревьев и садового мха.

— Что это за книга — Акаси Унато?

— Это поэт, разве вы не знаете?

— Ах, вон кто. Акаси Унато! Если порыться в журналах, то, пожалуй, можно найти его стихи. А ты, Ямачин, разве любишь стихи?

— Он несчастный человек — вот мне и хочется почитать.

— Ты все его стихи читала?

— Да как сказать, — всех, конечно, нет.

Прокаженный поэт Акаси Унато только что начинал приобретать известность. Даже Дзинкичи и тот не читал еще его стихов в собранном виде. Он решил, что Ямачин любит литературу более остальных девочек.

— Ямачин читает разные книги, — не раз говорила Кимико, считавшая свою подругу любительницей литературы.

Но Дзинкичи прежде не казалось, чтобы Ямачин особенно увлекалась литературой и читала разные книги. Ее интерес к Акаси Унато поэтому был для него неожиданным и подкупающим.

В давно минувшие годы, когда Дзинкичи было лет двадцать, ему в каждой девушке чудился аромат литературы. По его мнению, почти все девушки тогда любили или стихи, или романы. В последние же годы он перестал ощущать в них этот аромат. Возможно, что с годами ослабевала и восприимчивость его чувств.

Иногда Дзинкичи приглядывался к Кимико и ее брату Тэйкичи, моложе ее годами, и не обнаруживал в их жизни ни малейшего следа литературы. Дзинкичи думал об этом даже с каким-то облегчением, но время от времени у него всплывала мысль, что изредка им не мешало бы все-таки почитать стихи. Среди шестерых подруг одна лишь Кимико, по-видимому, не читала ничего из литературы, так как другие иногда интересовались:

— Что это за книга «Улетим вместе с ветром»? Интересная?

Дзинкичи не находил, что ответить, и ограничивался советом:

— Лучше не читать таких книг.

Иногда он обращался к детям с укором:

— Считается, что дети литераторов в какой-то мере всегда владеют слогом. Я не знаю, что из вас получится: мало кто не любит книг так, как вы.

— Ах, извините, пожалуйста, — дразнящим тоном отвечала на это Кимико.

— Еще неизвестно, что из нас получится, — пытался оправдаться Тэйкичи, бывший учеником второго класса гимназии.

После обеда, когда день уже клонился к вечеру, принято было прогуливаться по улицам. Во время одной из таких прогулок Дзинки-

чи, зайдя в какой-то магазин за покупками, дал подержать Ямачин свою тросточку. Когда он вышел из магазина с большим свертком в руках, Ямачин и Кимико были уже далеко. Дзинкичи с удивлением смотрел на преобразившуюся фигуру Ямачин — она казалась совсем европейской девушкой, идя по улице и помахивая тросточкой с серебряным набалдашником немецкого изделия, купленной в Харбине на Китайской улице. Дзинкичи с удовольствием смотрел на рослую, несколько преувеличенно выпрямленную фигуру девушки, казавшейся теперь необыкновенно изящной. Улица шла в гору, и снизу Ямачин казалась еще выше, чем всегда. Тросточка делала ее очень эффектной.

— Ямачин, тебе очень идет тросточка.

— Неужели? Тогда я еще попользуюсь.

В первый раз Дзинкичи убедился, что тросточка может так идти девушке. В руках других она выглядела бы просто вульгарной, особенно снабженная серебряными украшениями, но в руках Ямачин она казалась естественной, и самые украшения не бросались в глаза: набалдашник был из оксидированного серебра с глубокою резьбою, изображавшею голову монгольской собаки, больше похожей на голову дельфина.

Ямачин и Кимико, как всегда, остановились перед ювелирным магазином, чтобы полюбоваться выставленными в витрине прекрасными камнями. Магазин был перворазрядный, торговавший разными вещами для подарков. Среди них имелись и настоящие драгоценные камни, — правда, в небольшом количестве.

— Непременно куплю, — слышался решительный голос Ямачин, выбиравшей между бирюзой и кораллом. Дзинкичи поразился твердости тона, каким были произнесены слова.

— Дядя, помогите выбрать.

Дзинкичи пришлось подойти и принять участие в обсуждении, на каком из двух колец остановиться.

— Возьми лучше с голубым.

— А мне с кораллом тоже нравится.

— Тогда купи оба.

— Ну, у меня нет столько денег, — произнесла Ямачин голосом, в котором уже не слышалось прежнего одушевления.

— Тогда, может быть, лучше с кораллом?

Ямачин сделала грустное лицо, какое бывало у нее при покупках.

— Можно отложить и до другого раза.

— Папа, у Ямачин пусто в кошельке: все потратила на мороженое. Одолжи ей немножко.

— Что же, пожалуйста!

Кимико и Ямачин о чем-то пошептались, Ямачин кивнула утвердительно головою и, стерев с лица грустное выражение, повернула глаза в сторону Дзинкичи, сама оставаясь обращенной лицом к Кимико.

— Угадайте, о чем мы говорили, — сказала она.

Дзинкичи смеясь передал свой бумажник Кимико. Ямачин купила себе кольцо с кораллом, какие любят молодые девушки; Кимико купила брошку. Эта сценка так гармонировала с летней ночью, что Дзинкичи испытывал радостное чувство, наблюдая за нею.

Домой возвращались по тропинке, освещая путь карманным фонариком. В траве стрекотали большие кузнечики с длинными ногами и растопыренными крыльшками.

— Как идут в Каруйзава деньги!

— А вы бы еще больше покупали во время прогулок.

— На мороженое тоже много идет, — неожиданно вставил Тэйкичи.

— Ох уж это мороженое! Сколько ты его съедаешь, ужас!

Яманчин, действительно, приходила в ужас от количества мороженого, поглощавшегося Тэйкичи. Стоило только завязаться беседе, как Тэйкичи начинал:

— Давай держать пари на мороженое! Кто как, а я за мороженое. Пойдемте есть мороженое.

Дзинкичи недоумевал, что может быть особенного во вкусе мороженого. У него, однако, не хватало духа запретить Тэйкичи есть его, поскольку это не грозило желудку.

Тэйкичи с первого класса гимназии стал получать от отца в начале каждого месяца книжку билетов на автобус, стоившую пять иен, но никогда ею не пользовался, а терпеливо проделывал довольно длинный путь до станции пешком. Исключение составляли дни, когда шел сильный, проливной дождь. Таким образом к концу месяца билетная книжка оставалась у него почти нетронутой. Тэйкичи возвращал ее отцу вместе со счетом, собственноручно отпечатанным при помощи каучукового шрифта, кладя то и другое на швейную машину в чайной комнате. Счет гласил:

«Причитается с Вас получить столько-то иен, столько-то сэн за столько-то автобусных билетов. Означенную сумму просьба уплатить к завтрашнему утру. Число, месяц, год. Тэйкичи».

Требуемую сумму Дзинкичи должен был класть туда же, на швейную машину, на место оставленных Тэйкичи билетной книжки и счета. Точно такие же счета Тэйкичи выписывал и на плату за правоучение, и на починку обуви, и на книги, и на журналы, и на марки, оставляя их на швейной машине. Когда сумма доходила до 20 иен, делалась приписка: «Допускается рассрочка платежа на два раза — на завтра и на послезавтра». Накапливавшаяся мелочь обменивалась на новенькие ассигнации, если они находились у прислуги после покупок, в противном же случае Тэйкичи обменивал ее у отца. Деньги прятались в собственный чемодан Тэйкичи и летом шли на мороженое в Каруйзава.

Даже в холодные зимние дни, во время вечернего чая, Тэйкичи не переставал вспоминать:

— Эх, вкусное мороженое было у Бретта!

Накопив за целый год иен до тридцати, Тэйкичи без сожаления тратил деньги на мороженое, щедро удовлетворяя собственное заветное желание и угощая также и других.

Естественно, что у Дзинкичи не хватало духа наложить запрет на мороженое, достававшееся с таким трудом.

«Это то же самое, что для меня сакэ. Как же можно лишать мальчика такого удовольствия», — сочувственно думал он.

Кимико расходовала свои карманные деньги скорее брата и была не в состоянии на свои средства лакомиться мороженым. Тэйкичи

проявлял тогда великодушие и с гордостью угощал сестру, не забывая, однако, напоминать:

— Смотри, я уже десятый раз тебя угощаю.

Семья Дзинкичи, как и многие другие, однажды решила продать в казну имевшиеся золотые вещи: одно кольцо, золотой ободок на трость, крышки от часов и т. п. Было выручено за все 98 иен.

Когда в чайной комнате открылось совещание, как поступить с вырученными деньгами, Тэйкичи пришла в голову блестящая мысль, которую он и поспешил выложить, не желая упускать случая:

— Давайте купим велосипед.

Дзинкичи мысленно одобрил идею. Тэйкичи же, не давая опомниться присутствующим, поспешно продолжал:

— Прежде всего, не нужно будет тратиться на автобус. Потом, можно будет ездить со всякими поручениями. Не надо будет торопиться выходить из дому. Не будет расходов по прокату велосипедов в Каруйзава.

— В самом деле, пожалуй, это самый разумный выход — купить велосипед.

— Другого такого случая не дождешься.

И Кимико, и жена Умэ тоже согласились. Дзинкичи вынужден был признать, что покупка велосипеда представляет гораздо больше удобств, нежели абонирование телефона. Бравшиеся каждый год на прокат велосипеды стоили больших расходов и вместе с тем были до неприличия плохи.

— Хорошо, купим велосипед, — после минутного размышления решил наконец Дзинкичи.

Да, это была блестящая идея! Не нужно будет тратить денег ни на автобус, ни на прокат велосипедов в Каруйзава, удобно будет ездить и на почту, и к доктору.

— Поручаю покупку тебе. Смотри только, хорошенько выбирай.

Тэйкичи начал обход велосипедных магазинов, находившихся поблизости, но новых велосипедов уже нигде не было. Дзинкичи решил придти на помощь сыну и просил знакомых поставщиков присмотреть где-нибудь велосипед. Первая неделя, однако, прошла в бесплодных поисках.

Возвращаясь из училища, Тэйкичи пробовал заглядывать даже в район Симбаси, но новых велосипедов нигде не было. И лишь через несколько дней, при содействии одного поставщика, наконец поиски увенчались успехом. Снабженный необходимой для покупки суммой денег в 110 иен, Тэйкичи был отправлен за велосипедом. Вернулся он к вечеру бодрый и радостный, приехав на новеньком велосипеде из пригорода, находившегося на берегу моря.

— Великолепный велосипед! Не звякнет, не задрезжит.

Все вышли посмотреть покупку. На крыле, покрывавшем заднее колесо, уже красовалась надпись: «Г. Токио, Оомори-ку, улица №... Ямагами Тэйкичи».

Дзинкичи еще раз с удовлетворением подумал, что деньги, вырученные от продажи золота, нашли себе хорошее применение.

Тэйкичи был легок в весе и ловко ездил на велосипеде. После уплаты налога за велосипед он прикрепил зеркало, чтобы видеть находящиеся сзади повозки, приделал фонарь и купил масла для чистки.

По-видимому, все это доставляло ему массу удовольствия.

— Ну, вот, наконец и купили велосипед, — говорил он сам себе, и лицо его светилось радостью.

Он стал ежедневно ездить на велосипеде до станции. Иногда, возвратившись домой, самодовольно сообщал:

— По дороге какой-то господин сказал: «Как он у тебя сверкает!»

Когда приходили гости, к которым Тэйкичи питал расположение, он нарочно вытаскивал сияющий велосипед в сад и ставил его на камнях дорожки так, чтобы его хорошо было видно из окна кабинета. Гордости Тэйкичи не было предела. В самом деле, дети семей, имевших возможность приезжать на лето в Каруйзава, все имели собственные велосипеды, а Тэйкичи, бравшему велосипеды напрокат, приходилось каждое лето страдать от мысли, какая диковина достанется ему на этот раз. Поэтому он уже давно надоедал отцу просьбами купить собственный, но Дзинкичи, не умеющий ездить на велосипеде, долго не проникался жалостью к терзаниям сына. А между тем он сам, при постройке дома, купил за пятнадцать иен велосипед садовнику, который, рассыпаясь в благодарностях, говорил:

— Вот спасибо, барин. Уж такую радость мне доставили, сегодня даже ночь не спал.

Тэйкичи поклялся, что не допустит, чтобы его велосипед хотя бы раз был смочен дождем до поездки в Каруйзава. Велосипед буквально сиял в его руках. Тэйкичи протирали тряпкою, пропитанною маслом, каждую спицу колеса.

Однажды, сделав положенный тур на велосипеде, Тэйкичи вернулся домой сияющий и с самодовольным видом поведал Дзинкичи:

— Я все думал, отчего это люди так хвалят его. Да и на самом деле — на редкость быстрый ход. И знаешь, что я открыл?

Видно было, что открытие было необыкновенное, Тэйкичи говорил с возбуждением, больше обращаясь к самому себе.

— В чем дело?

— У простых велосипедов на шестерне 45 зубцов. У гоночных олимпийских — и то только 48. А на моем шестерня имеет 52 зубца!

— Ты что же, сам пересчитал их?

Дзинкичи невольно поразился: что за терпение — пересчитать все до одного мелкие зубцы на шестерне!

— 52 зубца — и всего 110 иен! Продавец и сам не знал, что он продает, — продолжал Тэйкичи. По его утверждению, таких великолепных велосипедов теперь нигде не существует.

* * *

Лето кончилось. В конце сентября Ямачин навестила дом Дзинкичи в Оомори и, как это часто бывало и раньше, осталась ужинать. Она еще не ходила в школу по болезни и выглядела значительно похудевшей с лета. В голосе слышалась легкая хрипота.

— А помнишь, какая давка была в автобусе, когда мы ехали из Осидаси?

— Я думала тогда, что умру.

Речь шла о поездке к подножию вулкана Асама-яма, представлявшему поле, сплошь покрытое лавой. На обратном пути автобус оказался набит до отказа. В нем нельзя было пошевелиться. Автобус бежал по выжженному склону подножия вулкана в наклонном положении. Кругом не было ни деревца. В небе кружились две маленькие вороны, похожие на корейских ворон. Унылый пейзаж, простиравшийся перед глазами, заставлял забывать даже о том, что стояло лето.

Когда завернули за гору, лопнула шина. Автобус остановился. Шум горного дождя внезапно стал слышнее.

— Ямачин, тебе лучше сесть. Подстели газету.

— Хорошо, я сяду, — ответила просто Ямачин и села прямо на пол. Лицо ее было желтее обыкновенного.

— Лучше тебе было остаться сегодня дома, — сказал полушутливо, полусерьезно Дзинкичи, стиснутый пассажирами.

— И вам не жалко было бы меня? А все-таки было интересно.

Автобус наконец двинулся дальше. Шофер промок под дождем до нитки. В волосах кондукторши застряли дождевые капли. От ее лица, на котором написано было выражение скуки, поднимался пар.

За ужином, при воспоминании об этом маленьком происшествии, Дзинкичи несколько раз почудилось, что он слышит шум дождя, застигшего их тогда в горах.

— А все-таки побывали в Осидаси, — иначе, может быть, и не пришлось бы.

— Нет, хорошо, что я съездила.

Ямачин готова была тогда умереть, лишь бы поехать вместе со всеми.

— Даже места тебе не могли уступить, при всем желании, — задумчиво сказала Кимико, вспоминая, как она не могла пошевелиться в битком набитом автобусе.

Ямачин, боясь, что будет поздно возвращаться домой, поднялась и стала прощаться. Этим моментом воспользовался Тэйкичи.

— Ямачин, пойдем, я покажу тебе что-то интересное.

Он провел Ямачин в переднюю и раздвинул перед нею бумажные двери.

— А-а, Тэй-чан, купил наконец. Ну вот, теперь будет тебе удовольствие на будущее лето.

Ямачин говорила тоном взрослой женщины, расхваливая велосипед. Тэйкичи с довольным видом перечислял его достоинства:

— И сидеть очень удобно. На таком куда угодно можно ехать: и в Куцукакэ, и в Оивакэ, и даже в Коморо.

Длинные ноги не позволяли Ямачин научиться ездить на велосипеде. Все ее попытки в Каруйзава постигнуть это искусство были бесплодны.

— Ты, Ямачин, попробуй и в будущем году. Будем вместе ездить.

— Непременно попробую. А ты возьмешь меня в Куцукакэ?

— Ну конечно.

Все вышли проводить Ямачин до ворот. Дзинкичи, имевший обыкновение гулять после ужина, вызвался проводить Ямачин до вокзала, чего с ним никогда не бывало раньше.

Это было последнее посещение Ямачин дома Дзинкичи. В автобусе Ямачин молча приняла от Дзинкичи купленный им билет и по своей привычке только кивнула головою. До самого вокзала они не проронили ни слова.

Сначала Дзинкичи был намерен расстаться с Ямачин у вокзала, но вдруг передумал и, пользуясь сезонным билетом, вместе с нею вошел в вагон электрички.

— Вы, дядя, на Гинза?

— Да, все равно по пути.

— Если ради меня, то, пожалуйста, не беспокойтесь.

Дзинкичи слез на станции Симбаси. Он на минуту остановился на лестнице, чтобы проводить взглядом поезд, но вагоны уже тронулись, и среди толпившихся пассажиров ему не удалось разглядеть лица Ямачин. В груди было какое-то предчувствие, что он расстанется с Ямачин навсегда.

17 декабря Кимико, вернувшись домой из гимназии, влетела в кабинет Дзинкичи и с выражением ужаса в глазах проговорила:

— Ямачин лежит в больнице. Говорят, уже безнадежна.

— Ямачин — в больнице?..

— Подумай, уже никакой надежды.

— Откуда ты узнала?

— Вчера вечером Токо позвонила мать Ямачин. Просила завтра непременно придти навестить: Ямачин хочет видеть всех.

— Значит, ей очень плохо?

— Доктор говорит: если есть подруги, лучше дать повидаться с ними теперь же. Да и сама Ямачин: то все запрещала говорить, что она в больнице, а вчера вдруг попросила позвать всех. Завтра идем все вместе.

— Неужели так и умрет наша Ямачин?

Дзинкичи не ожидал, что это может произойти столь скоро. Он был так поражен известием, что не нашелся сказать ничего другого:

— Наверное, уже ничто не поможет.

— То-то она была такого непомерного роста.

— Я не знаю, что ей отнести: цветы или, может быть, фрукты?

— Цветы лучше.

— Хорошо, куплю ей цветов.

— А от меня статуэтку Тэндзин-сама⁶.

— Что же она будет делать с этим антиком?

— А ты все-таки отнеси.

Статуэтка была изготовлена в начале эпохи Мэйдзи⁷. В провинции Кага такие статуэтки раскрашивались и ставились на Новый Год, как украшение, в нишу «токонома», так как считалось, что Тэндзин-сама является покровителем каллиграфии. Статуэтка, имевшаяся в до-

⁶ Имя канонизированного государственного деятеля Сугавара-но-Мичизанэ (844—903 гг.), в честь которого воздвигнут в Киото храм Тэмман-гуу.

⁷ 1868—1912 гг.

ме Дзинкичи, была сделана из хорошо прокаленного фарфора, не утратившего еще яркости окраски. Она изображала красавца-мужчину с тонкими бровями и косо поставленным разрезом глаз. Дзинкичи приобрел ее на одном аукционе после великого землетрясения. Теперь Кимико должна была отнести ее от имени Дзинкичи в подарок больной Ямачин.

На следующий день Кимико вернулась домой поздно вечером. Близость смерти подруги, переживаемая ею в первый раз в жизни, производила на нее удручающее впечатление. Кимико говорила упавшим голосом.

— Как выглядела Ямачин?

— Голосок слабенький, едва слышный. Неизвестно, протянет ли до завтра.

— А что говорит доктор?

— Уже будто бы поражена вся полость горла. А мать говорит, что начали опухать подошвы ног.

Дзинкичи подумал, что смерть Ямачин, наверное, дело каких-нибудь нескольких часов. Он почувствовал вдруг тяжесть в голове и, чтобы избавиться от нее, спросил нарочито непринужденным тоном:

— А как Тэндзин-сама?

— Очень обрадовалась ему, погладила рукой, просила передать тебе благодарность.

— А самой ей кажется, что она умрет?

— Ну конечно, — ужасно исхудала, бедняжка. Когда мы пришли, страшно обрадовалась. Только мы долго не сидели: и говорить-то было не о чем, и боялись, что Ямачин устанет.

— Вот так и бывает: словно черта какая-то ляжет между умирающим и теми, кто остается.

— Может быть, сегодня кончится, а то завтра. Пища уже совсем не идет в горло.

— Все пятеро были?

— Да, — Сэночин, Токо, Курико, Тана и я.

— Значит, одна Ямачин теперь выходит из компании.

Ямачин скончалась на следующий день около полудня. В гимназию об этом сообщили по телефону. Пятерым подругам ничего не оставалось как сбиться в кучку в углу классной комнаты и тихонько поплакать.

Вернувшись домой, Кимико передала Дзинкичи общую просьбу: сегодня всем нужно присутствовать на ночном бдении у тела, а они не знают, что нужно говорить, как выражать соболезнование и как сидеть во время бдения. Поэтому хорошо, если бы Дзинкичи пошел вместе. Ведь ни один из отцов других подруг Ямачин не знал покойную, а Дзинкичи был с нею очень дружен. И если он пойдет, то душа Ямачин будет радоваться.

Доводы были убедительные. У Дзинкичи за время совместной дачной жизни в Каруйзава установилось хотя и странное, но близкое знакомство с пятью подругами Кимико, в то время как другие отцы стояли совершенно в стороне и не пользовались общим расположением. Поэтому кроме Дзинкичи идти было некому.

— Я уже дала за тебя согласие. Все равно ведь ты и так пошел бы на бдение.

— Пойдем, пойдем, — успокоительно ответил Дзинкичи.

Какое-то радостное и светлое чувство теснилось в его груди.

— Мы условились собраться на станции Синагава к семи часам.

— Давай тогда скорее ужинать.

Жена Дзинкичи, Умэ, относившаяся к Ямачин с нежностью, попросила мужа:

— Положи и за меня курений. Бедняжка, все говорила: поправляйтесь, тетя, скорее.

— Хорошо, положу.

Разбитая параличом Умэ все еще не могла двигаться без помощи других, хотя с начала болезни прошло уже более двух лет. Боясь дать волю сентиментальным настроениям, Дзинкичи заговорил бодрым тоном:

— Удивительно привязчивая была девочка. Бывало, скажешь ей: «Ямачин, иди сюда, садись поближе», — подойдет, сядет и сидит так неподвижно. Делала все неторопливо, спокойно. Интересно, сердилась она когда-нибудь или нет?

— Еще как! Самым серьезным образом.

Когда вышли из дома, Кимико, словно спохватившись, сказала:

— Да! Вчера Ямачин спросила: что, еще не вышла книжка дяди? Я пообещала, что, как выйдет, непременно принесу.

Во время проживания на даче в Каруйзава Кимико записывала в форме дневника всю жизнь их дружеской компании. Дзинкичи, обработав записки, поместил их в книгу своих рассказов. Ямачин запомнила его обещание подарить книгу, в которой говорилось и о ней.

— Как ты ей сказала?

— Сказала, что книга выйдет через несколько дней.

— Так и не дождалась, бедная.

— Можно передать потом, в виде приношения.

— Что, книгу?

— Ямачин непременно обрадуется. И тебе будет легче от того, что выполнил обещание.

Дзинкичи подумал, что не в состоянии будет сделать это: такая форма передачи подарка казалась ему слишком манерной. Он с радостью подарил бы книгу Ямачин, раз она ее хотела, но теперь было уже поздно. Однако обещание было дано, и Дзинкичи чувствовал, что невозможность его выполнить еще теснее связывает книгу с Ямачин.

Улицы района Магомэ имели свой обычный вид, но какое-то особенное настроение, владевшее душою Дзинкичи, заставляло его совсем в ином свете, чем всегда, представлять их идущие по темным переулкам фигуры.

На платформе вокзала Синагава поджидали одетые в черные пальто, с белыми респираторами, закрывавшими рты, высокая Сэночин, Токо и Тана. Войдя в трамвай, они, как всегда, слегка кивнули головою в знак приветствия, хотя и не видели Дзинкичи с самого лета, и остались стоять, не проявляя и признака приветливости. С их лиц уже сошел летний загар, и они казались от этого значительно изменившимися. Все четверо, сбившись в кучку, сообщали друг другу взволно-

ванными голосами, как страшно похудела Ямачин, как она не хотела сообщить, что ее поместили в больницу, — наверное, желая сделать это по выздоровлении. Черные пальто, из которых девушки уже выросли, придавали им вид учениц старших классов.

На станции Юуракучоо поджидала Курико, стоявшая вполоборота к лестнице. Среди двигающейся толпы ее фигурка в гимназической форме имела трогательный и беспомощный вид.

До Фукагава решили ехать на автомобиле. Шофер несколько растерялся при виде того, как пять взрослых гимназисток одна за другою втискивались в тесное помещение автомобиля, но затем это, по-видимому, даже развеселило его, так как он охотно отвечал на расспросы о дороге.

Дом Ямачин был деревянной постройки, трехэтажный. Он находился в том районе Фукагава, который носит название Киба⁸ — по имени разбросанных здесь во множестве лесных складов.

— Смотрите, в окошке Ямачин горит свет! — первая заметила Тана. Все подняли головы к третьему этажу, где находилась комната Ямачин.

— Почему это оставляют гореть электричество?

В это время свет в комнате, где обычно Ямачин учила свои уроки, вдруг погас.

— Что такое!

Пятеро подруг испуганно прижались друг к другу. По-видимому, кто-то из домашних на минуту зашел в комнату что-нибудь поискать.

Войдя в прихожую, подруги прежде всего сняли белые респираторы, сунули их в карманы своих пальто и затем уже разделись. Они поправили воротники своих форменных платьев и привели себя в порядок. Во всех их движениях чувствовалось почтительное отношение к месту.

Ямачин лежала накрытая одеялом с цветным узором. Под ним едва обозначались очертания ее тела, ставшего каким-то плоским и беспомощным. Лицо скрывалось под куском белой материи. Трудно было поверить, что это была та самая Ямачин, которая в один летний день спрашивала о стихах Акаси Унато. Статуэтка Тэндзин-сама — подарок Дзинкичи — с аккуратно надетой шапочкой на голове стояла на столике у изголовья. Гимназистки подходили по одной, бросали щепотку курений в кафельницу и, склонившись в долгой безмолвной молитве, отходили потом назад. От всего окружающего веяло каким-то светом, заставлявшим забывать о присутствии смерти.

— Спасибо вам за заботы о дочери летом, — сказала мать Ямачин, подойдя к Дзинкичи.

Тот выразил свое соболезнование.

— Уж так мы, кажется, берегли ее: устроили, чтобы она была принята, как подкидыш, в семью родственников, записали в их семейный реестр⁹, — и все-таки не помогло. Значит, такова судьба.

⁸ Лесной склад.

⁹ Обычай в Японии таким способом оберегать детей, родившихся в несчастливый день и год.

Подошел и отец, который сообщил, что вот так же они лишились и старшей дочери. Дзинкичи отвечал скупно, охваченный настроением какой-то беспредметной задумчивости.

Пятеро подруг, стараясь быть незамеченными, потихоньку всхлипывали и вытирали глаза. Немного припухшие от слез веки сообщали их лицам какую-то болезненную красоту. Дзинкичи, глядя на них, думал, что не стоит долго оставлять их в этой комнате: чувство печали могло принять такие формы, что им самим было бы неловко оставаться дольше.

Дзинкичи обратился к Кимико:

— Спроси у всех, как они хотят: чтобы показали на прощанье лицо Ямачин, или же вернуться так, не видя ее?

Дзинкичи считал нужным задать этот вопрос из чувства ответственности, как руководитель, чтобы не вызвать потом упрека в том, что по его недогадливости они не видели даже лица покойной подруги. Но вместе с тем приходилось задуматься, хорошо ли показывать впечатлительным девочкам мертвое лицо, не останется ли оно для них надолго жутким воспоминанием.

Кимико передала вопрос Токо. Токо сообщила его Курико. Курико спросила у Сэночин:

— Ты будешь смотреть на лицо Ямачин? Или пойдешь не глядя?

Они совещались чуть слышным шёпотом, тесно сблизив головы и едва шевеля губами. На их лицах в то же время отражалось огромное напряжение. По всему было видно, что они не знали, как поступить: чувство страха, жалость к покойной, сознание неловкости, что они не посмотрят на нее в последний раз, и боязнь заглянуть ей в лицо боролись у них в душе. Дзинкичи даже пожалел, что обратился к ним с таким вопросом.

— Передай всем, что можно и не смотреть — в этом нет ничего плохого, — сказал он тихонько Кимико, и та передала его слова всем остальным.

Ответ был таков:

— Лучше не смотреть, а то потом будет тяжело.

— В таком случае, теперь я пойду положу курений, затем мы отдадим последний поклон и пойдем домой.

Дзинкичи бросил прощальную щепотку курений в кадку, мысленно обратившись к Ямачин со словами:

— Прощай, Ямачин. Это лето прошло для тебя интересно, не правда ли? Ты хорошо сделала, что побывала в Осидаси и что купила себе колечко с кораллом. Ты отлетаешь теперь с ним в лучший мир. Вот сегодня я пришел сюда вместе с твоими подругами. Но ты не думай: я пришел бы сюда и один, непременно пришел бы. Сейчас мы покинем тебя. Наверное, все захотят пойти на Гинза. Значит, и мне придется пойти с ними вместе. Прощай, Ямачин.

Вслед за Дзинкичи стали прощаться с подругой и остальные.

Выйдя на улицу, гимназистки встали в кружок и, словно по команде, надели свои белоснежные респираторы. Этот дружный жест, произведенный всеми одновременно, поразил Дзинкичи своею правильною, строгою красотой.

— Какие руки были у Ямачин — белые, белые!

— Как! Разве были видны руки? А я не видела.

— Как же не видела? Они были сложены на груди.

Дзинкичи находился у ног покойной, поэтому ему не было видно ее рук.

Когда сели в автомобиль, Кимико попросила:

— На Гинза, папа.

— Вот как! Чего-нибудь поесть?

— Выпьем чаю, потом съедем мицу-мамэ¹⁰, и довольно.

Кимико добавила, что больше им ничего не надо.

После ярко освещенного автомобиля Гинза показалась чуть-чуть мрачной. Дзинкичи было немного дико шагать по улице в сопровождении пяти девушек, облаченных в черные пальто. В их фигурах, напоминавших женщин-пожарных за границей, была какая-то мужественная красота.

Чай пили в высоком белом здании. Когда все уселись за столик, руки девушек сами поднялись к ушам и сняли с них шнурки белых респираторов. Мягкость этого движения приковала внимание Дзинкичи уже раньше. Теперь эти белые респираторы показались ему очаровательными: при всей своей примитивности они служили покровом, оберегавшим девичьи уста.

Перебрасываясь фразами, девушки сложили респираторы вдвое, положили их перед собою на столик и не спеша принялись за чай. Дзинкичи наблюдал за ними с восхищением, хотя девушки не обращали на него ни малейшего внимания и не делали никакой попытки заговорить. Они пили чай очень корректно: словно сговорившись, они отхлебывали из чашек по маленькому глотку, ставили чашки на стол, затем снова подносили их ко рту неспешным движением. Их губы от этого все время увлажнялись, — увлажняясь, смягчали выражение их лиц.

— Я уже несколько ночей подряд вижу Ямачин во сне, — произнесла Токо.

— Ах! Я тоже. Вчера вернулась от нее домой и увидела ночью. Будто бы Ямачин говорит мне: «Пойдем на Гинза». — «Как, разве ты не умерла?» — спрашиваю я. А Ямачин отвечает: «Разве? Вот странно».

Тана рассказывала это, заглядывая прямо в глаза Токо, словно пораженная, что они обе видели один и тот же сон.

Курико со своей стороны вставила:

— Удивительно! Я тоже видела вчера сон. Вы знаете? Мы ведь всегда ездили вместе с Ямачин до Юуракучоо и там расставались. А тут, вижу, Ямачин едет дальше, до четвертой чоомэ¹¹. Я и говорю: «Что с тобой сегодня, Ямачин? Ведь так ты уедешь на Цукидзи». А она мне отвечает: «В самом деле, что это со мною?» — Повернулась и пошла в другую сторону. Какие странные бывают сны!

— Значит, сегодня моя очередь увидеть. У-у, как страшно! — сказала Сэночин, но Тана возразила:

— И совсем ничего страшного.

¹⁰ Красные мелкие бобы, сваренные в медовом сиропе: подаются с нарезанными фруктами и кубиками агар-агара.

¹¹ Чоомэ — улица.

— Во сне чувствуешь себя так просто. Тем-то сны и хороши, что за них не отвечаешь.

Слушая их беседу, Дзинкичи думал, что такие сны, когда трое вместе видят одну и ту же подругу, являются олицетворением настоящей дружбы и могут сниться лишь до двадцати лет.

* * *

Прошлым летом в Каруйзава, когда кроме этих пятерых подруг была жива еще и Ямачин, Дзинкичи часто приходилось есть свой обед в одиночестве: ему накрывали на веранде, а девушки располагались за круглым столом в гостиной. Приготовленные блюда разносились ими. Каждая несла по одному блюду и на стол Дзинкичи. У одной в руках была нарезанная тонкими ломтиками сырая рыба, у другой — тарелка с жареной рыбой, третья подавала закуску для сакэ. В это время царило большое оживление. Положенное рисунком не в ту сторону блюдо замечал наметанный глаз дочери ресторатора — Курико. Она поправляла его, изящно оттопыривая при этом свои пальчики.

После обеда был обычай идти на прогулку в город. Девушки толпились перед зеркалом, спеша поправить лица и слегка подпудривая их, если дело было вечером.

На улицах они подолгу останавливались неподвижно перед ювелирными магазинами: сказывался возраст, жадный к приобретательству. Когда подходили к сирукоя¹², начиналось перешептывание. Девушки останавливались. Несмотря на то, что все только что пообедали, на лицах подруг изображалось неудержимое желание зайти попробовать сируко. Девушек можно было полюбить уже за одно это детское выражение лиц.

— Что случилось? Ноги не слушаются?

— Да, сами останавливаются, не могут пройти мимо.

Кимико стояла не двигаясь. Все остальные следовали ее примеру, упорно оставаясь на месте. Кто-нибудь не выдерживал и прыскал, кто-нибудь взвизгивал от душившегося смеха.

— Ну, так и быть, добавим еще и сируко.

— Ах, какой вы, дядя, понятливый.

Но стоило только войти в сирукоя, как Дзинкичи снова оказывался в стороне, словно с его существованием никто не считался. После сируко выпивалось по несколько чашек чая.

Ямачин утверждала, что по приезде в Каруйзава у ней увеличился аппетит, но она все-таки ела вполонину менее того, что ели другие.

Во время прогулки на горный перевал Усуи Ямачин вынуждена была остаться дома, так как не могла ходить по горам. Она вела себя так тихо, что Дзинкичи, находясь в своем кабинете, даже сомневался, дома ли Ямачин.

Выйдя в чайную комнату, он застал ее за чтением какой-то книги.

— Что это у тебя за книга?

— Это? Ну, дядя, мне неловко:

¹² Ресторанчик, где подается сируко — жидкая кашлица, сваренная из мелких красных бобов с кусками рисового теста — о-мочи.

Ямачин с трудом оторвалась от чтения, посмотрела на Дзинкичи каким-то невидящим взглядом, но покорно показала ему обложку с названием.

— Оосэко Ринко!¹³ Интересная книга?

— Я только что начала. Есть интересные места.

Дзинкичи бегло перелистал несколько страниц. Книга была написана в форме эссеистских заметок. Дзинкичи показалось, что юный автор на многие вещи смотрит совсем иначе, чем он, и едва ли стал бы разговаривать с девушками, подобными Ямачин.

— А как относятся к Оосэко гимназистки? Пользуется она у них популярностью?

— Ее любят за то, что все вещи она называет своими именами.

— Ты что, купила эту книгу?

— Нет, взяла у Тана.

— Как ты находишь ее сравнительно с Акаси Унато?

— Это совсем в другом духе.

— Ну, например, чем они отличаются друг от друга?

— Акаси Унато вкладывает в стихи всю душу, а эта писательница словно говорит скороговоркой и притом довольно ехидные вещи.

— С точки зрения мужчины, она именно кажется ехидной.

— А в общем то, что чувствуют все, она выразила скорее других.

— Ты настоящий критик, Ямачин.

— Как не стыдно, дядя!

Дзинкичи еще более убедился, что Ямачин читает книги и притом относится к читаемому критически. В восприятии внешнего мира она быстрее других умела схватывать сущность вещей.

— Куда ни посмотришь, везде как будто бы рассвет.

Это меткое сравнение вырвалось у нее во время прогулки по лесу, где сквозь молодые ветви деревьев проглядывало какое-то необыкновенно светлое небо.

За обедом полагалось есть хлеб. Ямачин поджаривала его, но не знала, что это надо делать так, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка.

— Молоко хорошо, когда при кипячении на нем еще не появилась пенка.

— А я думал наоборот, что молоко хорошо именно с пенкой.

— Нет, до этого нельзя доводить, — настаивала Ямачин, и Дзинкичи спешил снять молоко с огня, хотя и был уверен прежде, что это хорошо, когда на молоке образуется пенка.

Несмотря на знание таких тонкостей, Ямачин между тем не умела ни приготовить салат из огурцов, ни поджарить хлеб так, чтобы он оставался в середине мягким. Впрочем, не умела делать это не только Ямачин — другие были не менее слабы в такого рода вещах, и в этом Дзинкичи тоже чудилось что-то девическое.

Поэтому Дзинкичи сам резал огурцы на куски длиной в дюйм, ополаскивал их водою, натирал солью и клал на некоторое время на тарелку разрезом книзу.

¹³ Юная писательница, получившая широкую известность благодаря своей книге «Девические годы» («Мусумэ дзидай»).

— Ямачин, а помидоры ты сумеешь очистить?

— Это-то смогу, пожалуй.

— Хлеб, так и быть, поджарю я, — у меня это, кажется, лучше выходит.

— Ничего я не умею делать, даже стыдно.

После обеда опять царила такая тишина, словно Ямачин не было дома. Она, по-видимому, находилась в комнате, где стояло зеркало. Здесь было светло читать, и отсюда хорошо было видно улицу. Комната была площадью в пять дзёо и находилась рядом с ванной.

Вокруг зеркала были разложены туалетные принадлежности. Иногда по всей комнате были разбросаны полотенца, жакеты, чулки — так что буквально негде было ступить ноге. Но стоило девушкам начать наводить порядок, как комната моментально преобразалась. По-видимому, это было в характере у всех: не смущаться беспорядком, но быстро его ликвидировать, когда требовалось.

Возвратившись с прогулки, подруги застали Ямачин дремлющей в этой комнате.

— Ямачин, ужин готов? — спросила Кимико, сама поглядывая на Дзинкичи.

— Дядя за меня все сделал.

Прислуга, ходившая гулять вместе с девицами и получившая массу удовольствия, чувствовала себя, по-видимому, неловко перед Ямачин, так как принялась извиняться за то, что заставила ее работать.

Накануне отъезда из Каруйзава Дзинкичи повел всех девушек к мосту Футатэбаси, чтобы сняться на память. Дзинкичи предложил всем усесться на высоком каменном заборе, но на него трудно было взобраться. Девушки влезали, вытягивая одна другую за руки.

— У-ух, голова кружится!

Вода в речке, протекавшей внизу, бежала тоненькой струйкой, журча по камням. Галька, устилавшая высохшее дно, ослепительно сверкала на солнце. Девушки уселись на каменном заборе в ряд. Ветер надувал парусами их белоснежные юбки. Солнечные лучи ярко отражались от них и слепили глаза. Издали казалось, что на заборе сидят не человеческие существа, а белые бабочки.

* * *

Окончив чаепитие, девушки снова накрыли рты респираторами, поддерживая их одной рукой, в то время как другая надевала шнурок на ухо. «Пять белых лебедей с кусками снега в клювах» — пришло на ум Дзинкичи. Вышли на улицу.

Тана, более других выдержанная в японском стиле, отделилась от компании и сказала:

— Мне нужно еще сегодня пойти на урок.

— Завтра у тебя ведь репетиция?

— Да. Хоть и поздно, а я пойду.

Тана брала уроки японских танцев. Курико тоже давно уже училась танцам. Сэночин, отец которой был музыкантом, вместе со старшей сестрой изучала немецкий язык. Токо, как и Кимико, играла на рояле.

— Ну, ступайте на здоровье, — добавила Тана и стала удаляться.

Остальные вошли в переулок, в глубине которого виднелся барачной постройки ресторанчик, где подавали сируко. Переулок был такой тесный, что с трудом верилось, что он находится на Гинза. Дерево постройки, стулья, полотняная вывеска вместо дверей у входа, — все выглядело вульгарно. Публика, толпившаяся в пыльном помещении, была самая разношерстная: девицы мещанского вида, гимназистки, служащие, женщины среднего возраста, студенты. Ресторанчик напоминал низкопробную лавку мороженщика, какие часто встречаются в деревнях.

— Вот никогда бы не подумал, что на Гинза можно найти такую харчевку, — пробурчал Дзинкичи, пораженный видом набитого посетителями ресторанчика, где буквально негде было упасть яблоку.

— Да, это не тебе ходить сюда, папа, — со смехом ответила Кимико.

Не найдя ни одного свободного места, вся компания вышла на улицу. По-видимому, такие ресторанчики были разбросаны здесь повсюду. В следующем, куда зашел Дзинкичи со спутницами, удалось найти свободные места и расположиться за столом. По уверению Кимико, сируко здесь подавали невкусное, но искать лучшего более никому не хотелось. Дзинкичи встал со своего места и пошел заказывать. Навстречу ему шла женщина, только что вошедшая с улицы. Завидев в углу свободный стул, где только что сидел Дзинкичи, женщина поспешила его занять и через плечо заказала сируко. Вернувшийся Дзинкичи знаком руки пригласил женщину сидеть на месте, а сам остался стоять.

Девушки между тем, не обращая внимания на Дзинкичи, брали ложечками сируко из чашек и медленными движениями отправляли его в маленькие рты. Создавалось впечатление, будто они кормили свои рты с ложечки. Время шло. Дзинкичи продолжал оставаться на ногах.

— Пора, пожалуй, и идти.

— Еще немножечко.

Одну чашку сируко девушки ели бесконечно долго, окрашивая губы жидкостью цвета какао и, как всегда, спокойно разговаривая сдержанными голосами о чем-то непонятном для Дзинкичи.

«Вот почему они так долго задерживаются, когда ходят в город», — подумал он про себя.

Пока Дзинкичи ходил расплачиваться в кассу, девушки поднялись и, вопреки ожиданию, очень быстро надели на губы свои белые респираторы.

«А все-таки проворный народ», — невольно подумал Дзинкичи.

По скрипучей и шаткой лестнице спустились со второго этажа, где потолки были ниже, чем в обыкновенных домах. Это тоже вызвало в душе Дзинкичи странное чувство: Гинза впервые представала перед ним своею дешевою стороною.

Когда вышли на улицу, Кимико сказала отцу сочувственным тоном:

— Бедного папу заставили сегодня терпеть.

— Ничего, я с самого начала был готов к этому.

— В таком случае, можешь пойти куда-нибудь выпить сакэ.

— А ты что будешь делать?

— Я подожду.

— Нет уж, вернемся лучше вместе.

Дзинкичи выпил за ужином сакэ менее обыкновенного. К тому же он успел уже проголодаться. Ему хотелось пойти куда-нибудь одному и не торопясь пропустить несколько чарок. Но жалко было отправить Кимико домой одну. А выпить хотелось так, что даже сосало под ложечкой.

— Может, и в самом деле пойти, пропустить чарочку.

— Я же говорю тебе, ступай.

— Нет, сегодня оставлю, — сказал Дзинкичи, нерешительно переминаясь с ноги на ногу на плитах тротуара.

— Почему же вам не пойти, в самом деле? — сочувственно поддержала Кимико Токо.

— Если ты беспокоишься за меня, то это излишне.

Курико и Сэночин заявили, что они поедут на автобусе.

— Вот и автобус подошел. До свидания, Мурокко, — решительно сказали они и двинулись в сторону.

— На седьмой день опять увидимся.

Молчаливая Сэночин только кивнула головой. Дзинкичи и Кимико остались вдвоем, вдруг почувствовав, как вокруг все опустело. У Дзинкичи пропало всякое желание пойти куда-нибудь одному выпить.

— Выпью дома, в чайной комнате.

— Бедный папа, как мне тебя жаль!

Когда Дзинкичи с Кимико вернулись домой, они застали Умэ стоящей на ногах и держащейся за комод: Умэ училась ходить после долгой болезни. Она передвигалась маленькими шажками от комода к раздвижным дверям, от дверей к нише «токонома», держась левою рукою за стойки. Правая рука еще не повиновалась. В чайной комнате было светло, как всегда, но странно было видеть стоящей посреди нее всегда сидевшую Умэ. Возле нее не было даже прислуги.

— Разве можно подниматься, когда нет никого дома? Ведь это же опасно, — сделал замечание Дзинкичи.

— Ну, как Ямачин?

— Маленькая сделалась — как кукла. Все-таки, как мало места занимает человек после смерти!

Дзинкичи хотел уклониться от разговора о Ямачин, но Умэ продолжала расспрашивать.

— А мать видели?

— Да. Она сказала, между прочим, что у Ямачин уже и в горло ничего не шло, а она в день смерти выпила две чашки чаю и съела кусок бисквита. И сказала еще: «Как это вкусно!»

Дзинкичи никак не мог понять, отчего это случается, что безнадежные больные за несколько часов до смерти приходят в себя, в каком бы тяжелом состоянии они ни находились.

— Ямачин сказала, будто бы, еще: «Мама, прости, что я часто капризничала. Выздоровею, никогда больше не буду...»

Дзинкичи остановился и, не говоря больше ни слова, начал прихлебывать сакэ. Смерть юной девушки, прекрасная и светлая, коснулась крылом его сердца и звучала теперь в нем тихой мелодией.

Томодзи Абэ

Одиночество

...Я выдаю вам секрет одного человека, но теперь уже ничего, можно об этом рассказать, — так начал мой приятель Н., молодой корреспондент одной газеты, и поведал мне следующую историю.

...Как вы знаете, я окончил университет С. по специальному отделению, работая в то же время шофером. Может поэтому показаться, что моя студенческая жизнь была обставлена всякими трудностями и лишениями, но это не совсем так.

Это было еще во время полного отсутствия контроля над автомобилем. Достаточно было заставить себя хорошенько поработать с полдня, как с грехом пополам, но я уже мог остальное время посвящать университету. Нелегко было, правда, но в самой жизни этой было для такого ветрогона, как я, что-то невыразимо привлекательное, и оно-то и делало ее совсем не такой трудной, как это могло показаться со стороны.

Как бы вам выразить, в чем был вкус этой жизни, — не могу найти подходящего слова. Пожалуй, впечатление какого-то потока. Все, что было в этом городе, утрачивало ясные очертания и просто текло в каком-то водовороте, на поверхности которого крутился и я.

Посмотришь этак на мир со стороны, — все в нем как будто устроено чинно, благородно, все на своем месте. А вот тому, кто, как я, и днем и ночью носится по этому миру, вывороченному наизнанку, когда с него совлечены внешние покровы, он представляется совсем в ином свете. Со всеми этими важными и строгими чиновниками, благородными дамами, богачами, учеными — стоит им только опуститься на сиденье в такси — происходит удивительная перемена. Ослабевают у них бдительность, что ли, уж я не знаю, но все они вдруг превращаются в самых обыкновенных людей и иногда говорят и вытворяют такие вещи, что просто диву даешься.

Развозишь, бывало, эту бесконечную вереницу сменяющихся людей по всем направлениям: с востока на запад, с севера на юг, — и мир начинает казаться сплошным потоком какой-то гущи, без конца, и днем и ночью, стремящимся неизвестно куда. Какая-то головокружительная пляска привидений, где счастье тотчас же сменяется горем, здоровье смертью, бедность богатством, красота безобразием, старость и немощность полной сил молодостью, добро злом, мудрость глупостью. Нет ничего твердого, определенного; все течет, как вода: и здания на улицах, и дороги, и жизнь людей, их наполняющих. Да и не только мир, что отражается в нашем взоре, — мы сами ни на секунду не остаемся в покое, а все стремимся, летим куда-то, несомые потоком времени. От этого впечатление становится еще глубже, пропущенное сквозь двойную призму восприятия.

Среди компании шоферов есть группа особенно подвижная и текучая. Это те шоферы, которые не имеют постоянной службы, а записаны в «Общество шоферов» и живут доходами текущего дня. В Токио таких обществ имеется несколько. Желающие приходят туда с утра, располагаются скопом на циновках перед конторкой и ждут, когда их вызовут. Запросы поступают по телефону. Кому временно нужен шофер на грузовик, кому на собственную машину, кому на такси, кому на автомобиль-катафалк, кому в ассенизационный обоз, — звонят отовсюду, где не хватает рук. Желающие платят в конторку положенный сбор и уходят, обеспеченные на день работой. Эти «общества шоферов» очень удобны для тех, кто желает погулять, пока есть деньги, либо для таких, как я, которые хотят работать в свободное от ученья время. Кто сделался их завсегдатаем, тому этот мир, действительно, кажется потоком, в котором человек кружится-кружится, пока не иссякнет весь газолин его жизни.

Как-то я сидел в университете на лекции по философии, слушал ее рассеянно, так как накануне до глубокой ночи гонял такси, нанятый в один гараж, а остаток ночи проговорил с девушкой из газолинки. Как сейчас помню, лектор говорил с кафедры о Гераклите, который получил в Греции прозвание мрачного философа за свое учение, что все в мире течет и изменяется. Потом о буддизме — что пристрастие к вещам временным и преходящим считается в буддизме путем несправедливым и ложным. Я слушал и думал: когда до конца почувствуешь, что все в мире текуче, действительно, какая-то щемящая тоска охватывает тебя, и ничего ты с ней не можешь поделать.

Жаль только, что ни Гераклит, ни древние буддийские монахи не были шоферами. Я не хочу сказать, что их тоска нам непонятна, — нет, но шоферы не относятся к текучести мира созерцательно, а, попав сами в этот поток, стремглав несутся в нем, чувствуя, как одновременно ими овладевает приятный спортивный задор. И очень возможно, что по окончании университета я сделался газетным корреспондентом именно потому, что свыкся с этим чувством. Если проникнуться им еще больше, если постичь всю его прелесть, то не родится ли из него сознание свободы? Когда наблюдаешь, как в мире все течет, все изменяется, то наряду с тоской возникает и сознание свободы, — вот какого утверждения я ждал в то утро от лектора.

Впрочем, довольно разводить автомобильную философию. Много ли пользы от разговоров о давно прошедших временах, когда даже не существовало никакого контроля над автомобилизмом. То, о чем я хочу вам рассказать, это история одного моего приятеля Носэ Тацумару, с которым я сошелся, когда вел эту жизнь.

Я познакомился с Носэ в «Обществе шоферов», находившемся в переулке где-то на задах одного универсального магазина на Ситамачи. День нашей первой встречи удивительно сохранился у меня в памяти.

Как сейчас помню, у меня только что закончился в университете второй семестр и наступили новогодние каникулы. Я решил использовать их, чтобы немного подработать, и направил свои стопы в «Общество шоферов», где не показывался уже довольно долгое время.

Было холодное утро, шел не то град, не то снег. В комнате для шоферов были развешаны по стенам лозунги: «Рвение и старание»,

«Остерегайтесь аварий», «Честность и справедливость». Тут же висела литография с изображением генерала Ноги. Комната была небольшая, площадью около десяти дзё¹. В ней, в полумраке, с самого утра уже сидели около двадцати человек шоферов и шумно разговаривали в ожидании выгодного найма. Многие меня знали в лицо. Некоторые, завидев меня, приветствовали: «А-а, студент! Ну, как экзамены?» За конторским столом у входа сидел хозяин, мужчина лет под пятьдесят, худой, высокий, с бледным лицом. Перед ним всегда лежала развернутой какая-нибудь лубочная книжка, которую он читал со скучающим видом, ожидая телефонного звонка. Фактически всем делом заправляла его жена, энергичная, дородная женщина, весившая раза в два больше своего супруга. Она время от времени спускалась вниз со второго этажа и оглядывала помещение для шоферов. Когда я вошел, она пробурчала: «Ну и погодка же сегодня, будь ты неладна» — и занялась просмотром конторских книг.

Шоферы были все народ жизнерадостный. Одни из них играли в цветочные карты, другие — в «сёоги»², третьи — в «го»³, четвертые, сбившись в кучку в стороне, о чем-то болтали, временами разражаясь веселым смехом.

Казалось, все печали мира существовали неизвестно где и совершенно их не касались.

Человек средних лет, с серьезным видом игравший в «го» и громко стучавший при этом костями, носил кличку «инженер-от-санитарии». В игре в «го» с ним никто не мог тягаться силами, свою же странную кличку он получил за то, что всегда напрашивался ехать при вызове из ассенизационного обоза. В тот самый день, когда я явился в общество, его тоже очень быстро вызвали, и он ушел, оставив партию недоигранной. Кто-то за его спиной зажал пальцами нос, кивая в сторону «инженера-от-санитарии». Говорили, между прочим, что в квартире «инженера» царили удивительные чистота и порядок, а его сын учился первым учеником в начальной школе.

— У инженера заработок, пожалуй, лучше нашего. Я вот вчера нанялся к каменщику, так он, подлец, меня камни заставил таскать. Все руки и плечи себе ссадил. До сих пор болят, — говорил один шофер.

— Ну и дурак. А я вот у кондитера работал. И харч у него был хороший, а на прощанье я даже пирожных в гостинец получил, — говорил другой.

— Зато в Н-ском гараже угощение такое, что во всем Токио хуже не найдешь. Ни за что туда больше не пойду, — говорил третий.

Разговор вызвал общий аппетит, собрали деньги в складчину по жребью и купили булочек «ампан»⁴. Во время еды зазвонил телефон: вызывали из дома некоего политического деятеля. Один из шоферов, большой любитель разговоров и речей на политические темы, пришел в оживление:

¹ 1 дзёо — 18 квадр. футов.

² Японские шахматы.

³ Японские шашки с большим числом костей.

⁴ Маленькие булочки с начинкой из фасоли.

— Вот хорошо! Пойду-ка, поспорю с ним о политических партиях, — и с этими словами быстро вышел из помещения.

Потом был звонок из квартиры знаменитой артистки. Я хотел было уже подняться, чтобы идти, как меня остановило чье-то замечание:

— Брось! Скряга, хуже не найдешь.

Пока я колебался, меня опередил юноша-кореец, знаток кинематографа: он попросил, чтобы предложение записали за ним.

После этого долгое время телефонных звонков не было. Некоторые стали уже собираться домой, потеряв надежду получить в этот день работу, как дверь в помещение открылась и вошел какой-то юноша. Я не разглядел его лица, потому что воротник его желтого дождевика был поднят, а поля низко надвинутой мокрой шляпы закрывали его глаза. Он подошел к конторке и протянул хозяину свое промысловое свидетельство. По всему было видно, что он в первый раз записывается в члены «Общества шоферов». Хозяин стал подробно расспрашивать новичка, желая выяснить его личность. В это время вниз спустилась хозяйка. На ее здоровом, смуглом и румянном лице отразилось явное любопытство, заметное даже мне, сидевшему в углу комнаты. Перекинувшись с хозяином несколькими короткими фразами, она быстро завладела разговором с юношей. Вдруг она обернулась в мою сторону, отыскала меня глазами и сделала рукой знак, чтобы я подошел. Я с недоумением встал и направился туда. Хозяйка сказала, что мы оба студенты и должны поэтому познакомиться. Так завязалось в этом обществе знакомство между двумя студентами-тружениками, так сказать, представителями местной интеллигенции. Когда юноша обернулся с поклоном в мою сторону, я был поражен правильностью черт его лица. Черные волосы, белая кожа, густые брови, большие ясные глаза, прямой нос, сочные губы — всех этих шаблонных определений мало, чтобы описать его наружность, — он был красив на редкость. Короче говоря, это и был тот самый Носэ Тацумару, о котором я хотел вам рассказать.

Я повел Носэ в угол комнаты, угостил его здесь оставшимися булочками, и мы разговорились. Чувство предубеждения, вызванное сначала его красивой внешностью, во время беседы рассеялось. Носэ оказался простым и серьезным юношей, а то обстоятельство, что он учился на каком-то специальном отделении в одном из университетов того же района Канда, окончательно нас сблизило, и я почувствовал, как во мне закипает дружеская симпатия к нему. Мы прождали с ним до обеда, но так и остались без работы на целый день. Было уже под вечер, когда мы покинули помещение. Мы зашли куда-то выпить кофе и продолжали наш разговор. Из кармана черной тужурки Носэ высовывалась книжечка серийного издания, однако в этом не было и намека на желание порисоваться. Я был в это время типичным «литературным юношей», но когда я заговорил с Носэ о литературе, то, к стыду своему, убедился, что он много читал и знает Толстого и Достоевского не только по именам, как я, но знаком и с содержанием их произведений, чем я похвастаться не мог.

До того как появиться в «Обществе шоферов», Носэ, оказывается, служил в магазине автомобильных принадлежностей, но вынужден был оставить это место по обстоятельствам, о которых я расскажу после.

О том, что он был серьезным юношей и пуританином по убеждению, несмотря на свою красивую наружность, говорит, например, следующий случай, происшедший около месяца после того, как мы познакомились.

Однажды Носэ был нанят шофером на такси. Он ехал порожняком по фабричному району за городом, как вдруг к его машине бросилась, чуть не попав под колеса, девушка весьма сомнительного вида. Она вскочила на машину и села рядом с Носэ. Одурачивающий приторный запах белил говорил, что это была девушка с улицы. Она попросила Носэ оставить ее рядом с собою, пока они не встретят настоящего пассажира, и не желала двигаться с занятого места. Носэ овладело мрачное настроение. Чтобы как-нибудь отделаться от девушки, он довез ее до угла, где помещался ресторанчик «собая»⁵, и спросил, не хочет ли она есть. Девушка ответила, что страшно проголодалась.

— В таком случае поедим вместе, — предложил ей Носэ, и они вошли в ресторанчик. Носэ заказал что-то, тут же расплатился и, не теряя ни минуты, выбежал на улицу.

Рассказывая мне об этом на другое утро, Носэ признался, что ему страшно жалко ту девушку: его мучит мысль, что он поступил с ней жестоко. На лице Носэ, действительно, было написано выражение раскаяния. Случай этот, как видите, достаточно хорошо рисует личность Носэ.

Может быть, вы из этого заключите, что Носэ был сентиментальным человеком и нытиком, но это совсем не так.

Он стал показываться в нашем обществе почти ежедневно. Предубеждение, которое питали к нему шоферы вначале, было сломлено, они стали относиться к нему с доверием, и имя Носэ не сходило у них с уст. Все слова и поступки Носэ поражали своей отчетливостью и мужеством. В нем заметна была большая рассудительность и не было и намека на легкомыслие. Под конец его стали даже хвалить, не стесняясь моего присутствия и как будто желая досадить мне: «Вот, смотри, тоже студент, а какая разница».

Он недурно играл в «сёоги» и не раз даже отнимал пальму первенства у «инженера-от-санитарии» при игре в «го». Кроме того, он обладал порядочной физической силой. Все эти качества невольно заставляли других уступать ему место. Хозяйка наша, очевидно, была покорена им совершенно, так как только и поминала его имя, но отношение к этому самому виновнику было в высшей степени спокойное и простое, не вызывавшее неприятного чувства ни у кого из присутствующих.

Но вот в один прекрасный день все обратили внимание на какую-то странность в поведении этого самого Носэ. Нить рассказа требует, чтобы я упомянул об этом теперь же.

Это было однажды утром в конце зимы. Кроме «инженера-от-санитарии», среди завсегдатаев нашего общества был еще один человек, носивший кличку «член похоронной комиссии». Это был кореец уже довольно преклонного возраста. Он постоянно сидел в углу по-

⁵ Ресторанчик, где подают вермишель, макароны и лапшу, приготовленные в разных видах.

мещения, не обращая внимания на галдевшую публику, и с неприветливым видом покуривал трубочку. Он всегда вызывался ехать, когда просили шофера для автомобиля-катафалка. Трудно было предположить, что его привлекал один лишь заработок, кстати сказать, очень недурной. Было в нем что-то такое еще, весьма таинственное и мрачное, что толкало его управлять именно катафалком.

Однажды утром, когда все сидели и ели, по обыкновению, булочки «ампан», купленные в складчину по жребью, «член похоронной комиссии» вдруг раскрыл рот и проговорил:

— Вот такой же холодный день был...

Сделав это вступление, он затем рассказал нам на не особенно чистом японском языке следующую странную историю.

— Вот такой же холодный день был... Лет десять уже, должно быть, прошло. Работал я тогда в Корее. Один раз вечером отвозил я какого-то чиновника по спешному делу в горную деревушку, далеко от города. Обрато ехал порожняком. Хотел проехать напрямик, да, верно, ошибся дорогой, как переваливал через гору, — выехал в какую-то широкую долину, место совсем незнакомое. А на дворе уже ночь стоит, кругом темно, хоть глаз выколи, только ветер свистит, завывает. Еду, еду, никак не могу выбраться из долины. Хоть бы жильё какое попалось — ничего нету. Страшно мне стало, пустил я машину полным ходом. Заворачиваю за какой-то утес — и вдруг вижу: вдали огонек показался. Я немного сбавил скорость, думаю: «Спрошу дорогу». Только не успел я подъехать близко к жилью, вижу: стоит на дороге женщина в белом, загораживает путь, не дает машине проехать. Посмотрел я в свете фонарей, женщина молодая и такая красивая, что просто на удивление. «Что такое?» — думаю. В такое время, в таком пустынном месте — как-то не по себе мне стало. А женщина расставила обе руки и не пускает. Остановил я машину, озлился, да как крикну: «Эй, ты! Чего тебе надо?» А женщина подошла ближе и говорит: «Довезите, пожалуйста, до города. Больной у меня дома», — сама кланяется и смотрит этак просительно. Я тогда еще молодой был. Будь другое время, конечно, не устоял бы против такой женщины, сразу бы размяк. А тут ветер кругом шумит, свистит в ушах, жутко, чувствую, что холодею до самого нутра, а сквозь ветер слышу — будто младенец где-то плачет, новорожденный. Показалось мне, что из дома слышится. Посмотрел я еще раз на женщину: просит меня да и только, голос дрожит и лица на ней нету. Тут такая жуть меня пробрала, что я крикнул: «Нечего, нечего!» — отпихнул плачущую женщину от машины — вцепиться в нее хотела — да и ходу. Бормочу себе: «Привидение! Привидение!» — а сам лечу, не знаю куда. Как я ехал, ничего не помню от страха, помню только, что еще долго ветер доносил до меня плач этой женщины и крик младенца. Всю ночь кружил я по каким-то горам да полям — только к утру кое-как добрался до города. Словно нечистый мороку наслал либо во сне все это видел. Прошло после того несколько дней, вдруг читаю в одной газете: где-то в горах нашли мертвое тело женщины — убила мужа, какого-то негодяя, хотела, видно, бежать, да не удалось. Припомнил я, и в самом деле, как будто у ней тогда на белом платье следы крови были видны. Вот отчего, наверное, пустился я тогда наутек, сам себя не помня от страха. А только, знаете, — вот

она молодость! — долго после того не покидала меня мысль: «Эх, убежать бы мне вдвоем с этой красавицей куда-нибудь на край света...»

Когда «член похоронной комиссии» закончил свой рассказ, мы все сидели, не проронив ни слова. Наконец, молодой кореец, знаток кинематографа, сказал, поддразнивая рассказчика:

— Врет он все. Слушайте больше этого члена похоронной комиссии, — любит он пугать людей такими историями. В прошлый раз то же самое рассказывал, только слышал он это, будто бы, от дядюшки, да случилось это двадцать лет назад в один летний вечер. И была тогда лошадь, а не автомобиль. Это у него от дурмана иногда такие сны бывают.

Под дурманом подразумевалось, что «член похоронной комиссии» прибежал к наркотикам: к морфию или к чему-то в этом роде.

Понемногу все опять вернулись кто к «сёоги», кто к «го», кто к разговорам, но у всех в душе остался осадок какого-то сомнения, чего-то неразгаданного. «Член похоронной комиссии» ушел в свой угол и сидел там, попыхивая трубочкой, как ни в чем не бывало.

В это время я обратил внимание на странное поведение Носэ. Он как-то беспокойно ерзал на своем месте и все поглядывал в сторону «члена похоронной комиссии». Какое-то мрачное облачко набежало на его красивое лицо, нависло где-то между бровями. Потом он вдруг отвернулся в сторону, резко встал и, ни с кем не простившись, вышел на улицу. В тот день он больше не возвращался.

Три дня после того мы с ним не виделись. На четвертый, когда я пришел в «Общество шоферов», чтобы подработать в последний раз перед семестровыми экзаменами, Носэ уже сидел там, как всегда, жизнерадостный и спокойный. Я даже решил, что мои наблюдения были простым заблуждением.

В тот день зима как будто хотела покапризничать в последний раз: шел снег, сменявшийся дождем, и целый день дул сильный ветер. Мы попрощались с Носэ, хлопнули друг друга по плечу, пожелали взаимного успеха на экзаменах и расстались: мне нужно было идти по вызову и какому-то угольщику, ему — к владельцу гаража такси.

Но вот прошли и экзамены, запахло весной. После долгого перерыва я опять появился в «Обществе шоферов», чтобы снова начать работать. Я узнал там, что Носэ давно не появлялся. Прошло еще с месяц — от него не было никаких вестей. Впрочем, никто не придавал этому большого значения, считая, что нечего каждый раз беспокоиться о судьбе таких перелетных птиц, какими были мы. Единственно, кто тревожился за Носэ, это я, да еще наша хозяйка, которая относилась к нему особенно хорошо и всегда о нем заботилась. Время от времени мы с ней заводили разговор: «Куда это запропастился Носэ?» — но ни один из нас не получал от него известий.

В конце апреля Носэ неожиданно объявился. По его словам, после экзаменов он вернулся к себе на родину, где скончался кто-то из родственников. Родиной его был небольшой городок в провинции Чуугоку. Никакой перемены в Носэ я и тогда не обнаружил: как всегда, он серьезно и споро принялся за работу. Мы все успокоились. К этому времени мы с ним сделали уже неразлучными друзьями и часто бывали друг у друга в гостинице.

В начале мая, в один ясный солнечный день, нас вместе наняли в одну транспортную контору. Нужно было перевезти домашнюю обстановку какого-то лица, переезжавшего из Токио в свою усадьбу на берегу моря в Сёнан. Мы отправились на работу радостные и оживленные: нам редко приходилось работать вместе, а кроме того, предстояла приятная прогулка на автомобилях на побережье моря в этот чудесный погожий день.

Нагрузив до предела два грузовика роскошной мебелью: диванами, креслами, шкафами, прекрасными трюмо, пианино, ящиками, полными книг, — мы выехали, направляясь к морю. Местом назначения оказалась красивая вилла капитальной постройки с белыми стенами, расположенная в сосновом бору, откуда открывался вид на море. Мы стали разгружать вещи, думая в душе каждый, какие счастливые люди бывают на свете. В это время к дому подъехал автомобиль и из него, поддерживаемая сиделкой, вышла, едва держась на ногах, очень бледная дама, может быть, девушка. Мы перекинулись несколькими замечаниями в духе автомобильной философии о том, как все спутано в мире, где вещи и явления перемешались между собою без всякого различия.

Было уже далеко за полдень, когда мы закончили свою работу. Получив хорошие чаевые, мы направились в обратный путь по прибрежному шоссе. Моя машина и машина Носэ бежали рядом. Подъехали к какой-то скале. Неизвестно, кто из нас первый предложил сделать здесь небольшой привал. Поставили машины сбоку от шоссе, а сами взобрались на вершину скалы, откуда открывался чудесный вид. День был невыразимо хорош. Мы с наслаждением растянулись на траве, покрывавшей верх скалы. Все, что тогда произошло и о чем я вам дальше расскажу, так отчетливо врезалось мне в память, что весь мир, который нас тогда окружал, до сих пор еще, как живой, стоит у меня перед глазами.

Небо было синее-синее, прозрачное и наполненное сиянием. Солнце, близившееся к закату, горячим золотом плавилось над морем, окрашивая в пурпур края белых облаков на западе. Гребешки волн сверкали ослепительными зайчиками, словно на синей поверхности моря плавали, переливаясь, огненные шарики. Горы Сагами и Изу, окружавшие море, реяли в голубовато-фиолетовой дымке, а возвышавшаяся над ними Фудзи блистала, отчетливо вырисовываясь на фоне неба, перерезанная с одной стороны узким белым облачком. Мы лежали на траве, среди одуванчиков и фиолетовых цветов кашки, и полной грудью вдыхали запахи трав вместе со сладким ароматом белых цветов шиповника, наполнявшим воздух. Ветер совершенно стих. Мы были окружены каким-то розовым сиянием, излучавшимся от заходящего солнца. Снизу, от подножия скалы, доносился тихий шум прибоя. Крутом реяли жуки, наполняя жужжаньем этот сияющий воздух. Нам, привыкшим носиться днем и ночью по пыльным городским улицам, вся эта картина казалась каким-то сказочным сном.

Носэ вскрыл коробку с карамелью, я вытащил две бутылки пива, припасенные на случай отдыха в таком месте, и мы поделились друг с другом. Скоро наши головы уже кружились от легкого хмеля.

Мы стали распевать во все горло знакомые песни, совершенно не стесняясь окружающей обстановки и того, что страшно фальшивили: гимны наших университетов, модные песенки, европейские романсы, запомнимшиеся из пятого в десятое, следовали один за другим. Пешеходы, проходившие по шоссе, внизу скалы, заражаясь нашим молодым весельем, одобрительно поглядывали в нашу сторону и награждали нас улыбками.

Солнце, катившееся по краю облака, стало заходить за склон Фудзи и позолотило ее снежную вершину. Восторг мой достиг предела. Из моей груди вырвался ликующий крик:

— Банзай! Фудзи, банзай! Япония, банзай!

После этого я опять принялся распевать песни, какие только знал. В своем возбуждении я и не заметил, что Носэ вдруг как-то притих и сидит с поникшей головой. Я очнулся, когда он, воспользовавшись перерывом в моем пении, окликнул меня каким-то приглушенным, сдавленным голосом и повернул в мою сторону свое прекрасное лицо, озаренное лучами заходящего солнца. Я чуть не ахнул от неожиданности, пораженный его странным видом.

— Послушай, что я тебе хочу сказать. Ты знаешь, я тебя все время обманывал. Помнишь, я сказал, что у меня родственник умер, когда я исчез неизвестно куда, — все это ложь — с какой-то мрачной решимостью проговорил Носэ.

Хмель совершенно слетел с меня. Не перебивая Носэ, я выслушал от него следующее признание.

— Вот ты сейчас кричал: «Фудзи, банзай! Япония, банзай!» А ты знаешь, я ведь, пожалуй, совсем не сын Фудзи, не сын Японии, и посторонний человек для этого прекрасного пейзажа. Тебя поразили мои слова? Надо сказать, что по документам я ведь самый настоящий японец, старший сын дворянина Носэ Санзоо. Но в моей крови... тебе это может показаться странным, но позволь мне рассказать все до конца...

В те года, когда я начал помнить себя, меня окружал совсем иной пейзаж: красная глинистая почва, голые горы, невзрачные домишки, толпы людей в белых одеждах. Ты понимаешь, что я говорю о Корее, — о каком именно месте, неважно. Скажу только, что это был один провинциальный корейский городишко. Семья же наша была японская. Я вырос в этом городке единственным сыном мелкого чиновника Носэ Санзоо и его жены и до восьми лет чувствовал себя счастливым: в своей среде я выделялся происхождением, со мной обращались, как с барчуком. Как отец, так и мать были людьми добрыми и мягкими, в доме у нас всегда царила атмосфера света, покоя и тишины, окружающие японцы и корейцы хорошо отзывались о нас, у всех на устах была фамилия Носэ. Жизнь в нашем доме текла мирно и ничем не нарушалась, если не считать моих шалостей и проказ.

Но когда мне пошел восьмой год, в моей жизни произошла резкая перемена, набросившая мрачную тень на весь окружавший меня мир. В нашем городе появилась из какой-то далекой не известной мне провинции группа бродячих корейских торговцев. Избрав город своей временной резиденцией, они несколько дней ходили по его улицам и окрестностям со своими товарами. Как-то раз я играл один на пустыре перед нашим домом. В это время проходила мимо старуха-корейка с

морщинистым и черным от загара лицом. Она была из той же группы торговцев и уже несколько дней бродила с товарами поблизости, поэтому я хорошо запомнил ее лицо. Старуха остановилась возле другой корейки, стоявшей в одном углу пустыря, и о чем-то с ней заговорила, смеясь и указывая пальцем в мою сторону. До моего слуха донеслось: «Этот мальчонка совсем не японец». Едва ли нужно говорить, какое впечатление произвели на меня ее слова. Вечером, за ужином, я, заливаясь слезами, рассказал об услышанном отцу и матери и спросил, правда ли, что сказала старуха. Лицо отца приняло страшное выражение, какого я не видел никогда раньше. Он прикрикнул на меня, сказав, что если я еще когда-нибудь заговорю об этом, то он меня выгонит. Лицо матери подернулось печалью. «Это неправда, ты наш милый сынок, только, пожалуйста, не говори больше таких вещей», — сказала она и тоже строго посмотрела на меня, чего с нею никогда прежде не случалось. Я решил в своем детском сердце никогда больше не поднимать этого вопроса перед отцом и матерью, но тень, которая легла мне на душу, никогда уже не исчезала. Иногда сомнение с особенной силой поднимало голову и терзало мое маленькое сердце.

Я прожил в этой местности до тринадцати лет и, по мере того как все больше стал понимать вещи, я тайком от родителей, но с возрастающей настойчивостью пытался добиться разгадки того, что меня мучило: я внимательно присматривался к выражениям лиц японцев, товарищей отца, местных торговцев, знакомых корейцев, школьных учителей и т. д., прислушивался к тому, что они говорили промеж собой, — и к разным слухам, временами даже расспрашивал их, стараясь не навлечь на себя подозрений. Таким путем мне удалось, наконец, выяснить, правда, в очень неопределенных чертах, что я не настоящий сын моих родителей, а был принят ими еще младенцем не то из рук какого-то человека, не то из приюта. Постепенно характер мой портился, я превращался в капризного мальчика, с которым трудно было сладить. Должно быть, это очень беспокоило родителей, потому что однажды они для моего успокоения решили даже показать мне наш фамильный список, в котором я значился законным сыном супругов Носэ. Конечно, не исключалась возможность рождения ребенка и от престарелых родителей, убеленных сединами, но, с другой стороны, ведь не составляло никакого труда включить в фамильный список и подобранного ребенка, который еще не вылез из пеленок. Если бы провинциальный чиновник Носэ с женой были самодурами, пользующимися своей властью, дело другое, но отец был поразительно мягкий и сострадательный человек, может быть, даже чересчур безвольный для чиновника. Мать, в свою очередь, обладала теми же качествами, но в еще большей степени. Оба они вместе делали все, что было в их силах, для бедных и несчастных людей, будь то японцы или корейцы, безразлично. А так как все это происходило на моих глазах, то, естественно, я не мог не думать, что, может быть, и я тоже был подобран этими сердобольными людьми, пожалевшими подкидыша. Как ни уговаривал и ни страшал меня отец, мои сомнения не рассеивались.

Когда мне шел тринадцатый год, отец, не отличавшийся большими успехами по службе, вышел в отставку и мы вернулись в Японию, на его родину. Около этого времени страстное, упорное желание

узнать о своем происхождении сделалось у меня почти манией. Я не отставал от отца, прося его раскрыть мне всю правду. Сначала отец всячески увещевал меня, бранил, называл мои сомнения пустыми бреднями, говорил, что я его родной сын, что имя Тацумару дано мне в память прадедушки, знаменитого фехтовальщика из клана Х., носившего то же имя в детстве, но все было напрасно: я не поддавался убеждениям.

Один раз в отсутствие отца я так пристаивал к матери, что она, по доброте своей, не выдержала и, заливаясь слезами, раскрыла, наконец, что я, действительно, приемыш. Несколько раз после того я пытался узнать, кто были мои родители. Отец говорил, что моим отцом был полицейский, погибший на посту при набеге хунхузов где-то в пограничном районе. Но когда я еще упорнее начинал расспрашивать — о фамилии отца и откуда он родом, отец всегда сердился и переводил разговор на другую тему. И опять как-то раз, когда отца не было дома, я заставил-таки мать сознаться, что меня взяли из какого-то приюта. Я стал допытываться дальше, словно сыщик, задавая совсем не детские вопросы: какая на мне была одежда — такая, какую надевают на японских младенцев, или же... Мать со слезами на глазах ответила мне только: «японская». Но я все еще не верил. Теперь, когда я вспоминаю, как я в то время приводил в ярость отца и доводил до слез мать, мне становится страшно от содеянного мною греха. Мне иногда приходит мысль, что это я был виновником смерти этих сердобольных стариков, преждевременно сошедших в могилу. Отец, несмотря на свой преклонный возраст, мог спокойно прослужить еще несколько лет, а — между тем — он бросил службу и вернулся на родину. Почему он это сделал? Наверное, он думал, что, если не переменит для меня окружающей обстановки, то мое душевное состояние, напоминавшее сумасшествие, никогда не изменится.

Итак, наша семья возвратилась на родину отца, в маленький городок, расположенный в местности с хорошим климатом, недалеко от Внутреннего японского моря, но и здесь удача не сопутствовала родителям. Отец в душевной простоте доверил все свои сбережения, сделанные за долгую службу, младшему брату — коммерсанту с замашками афериста, — быстро спустившему их. Единственно, что еще у нас оставалось, это запущенная усадьба, какие бывают у мелкопоместных дворян. Она была расположена за холмом, покрытым старыми криптомериями, соснами и вязами. Но и усадьба находилась в числе имущества, заложенного братом отца.

Отец, однако, с чисто буддийским спокойствием отнесся к неудачам, ни словом не попрекнув брата. Он открыл маленькую контору по составлению жалоб и прошений для жителей городка и этим поддерживал наше существование. В свободное от работы время он предавался своему любимому занятию: составлению коротеньких стихотворений «хайку». Дни на склоне его жизни текли, таким образом, сравнительно мирно и спокойно. Из своего скудного заработка он умудрялся как-то выкраивать даже средства на мое образование, когда поместил меня в гимназию.

Что касается меня, то жизнь в новом месте заставила на некоторое время совершенно позабыть о мучивших меня сомнениях. Благо-

творно действовал на мое душевное состояние и окружающий мир, совершенно для меня новый: эти покрытые лесом горы, маленький опрятный городок, речка с удивительно чистой и прозрачной водой, зеленые поля, прекрасное море, раскинувшееся за ними, мягкие солнечные лучи, чуть-чуть влажный воздух. Отвлекла от моих раздумий также и гимназическая обстановка: учебные занятия, не дававшие сидеть сложа руки, спорт, доставлявший мне много удовольствия и наполнявший мою душу новыми бодрыми надеждами.

Успехами по общеобразовательным предметам я гордиться не мог, но зато в фехтовании быстро выдвинулся вперед, уже на третий год получив звание «факусёо»⁶. Это было тем удивительнее, что в моих жилах ведь не текла кровь знаменитого фехтовальщика, имя которого я носил и который считался моим покровителем. Так или иначе, я уже не доставлял беспокойства своим родным, как прежде. То душевное напряжение, в котором я держал отца, у него ослабло. Я не думаю, однако, что именно это послужило причиной его смерти, — он ведь вскоре скончался, разбитый параличом.

Надо сказать, что в новой обстановке, действительно, на меня сошло какое-то внутреннее успокоение, но оно все-таки было временным; в душе я не оставлял мысли, что, когда вырасту большим, я добьюсь от отца раскрытия всей истины. И вот отец умер, унеся в собой в могилу мою тайну. Упорные расспросы матери не помогали делу, — ответы ее не шли дальше того, что я происхожу из хорошей семьи, на все остальное она отвечала только слезами. Мне не оставалось ничего иного, как принять решение — переменить свой душевный строй, слиться с окружающей природой и людьми и начать новую, светлую жизнь.

После смерти отца на меня, помимо всего прочего, ложилась обязанность своим трудом поддерживать существование нашей семьи. Я оставил гимназию, закончив только четыре класса, и поступил на текстильную фабрику в нашем же городе. Работа здесь совершенно не оставляла места для бесплодных душевных страданий. Это не значит, однако, что я искренно забыл обо всем. Еще в бытность мою в гимназии меня прозвали корейцем за то, что я поступил туда из корейской начальной школы. Кличка эта незаметно прокралась за мною и на фабрику. В фабричном районе в то время тоже нередко мелькали белые одежды корейцев. Даже дома не избавлялся я от преследования видений прошлого. Отец мой был большим любителем старины и за время службы в Корее и других местах собрал большую коллекцию старинных предметов: фарфоровой и фаянсовой посуды, среди которой попадались такие уникалы, как фарфор эпохи династии Ли: тушечницы разного размера, изящные шкатулочки из бамбука и дерева и т. п. Все это привлекало мои взоры своей простой и наивной красотой и неотвязно шептало мне на ухо: «Твоя кровь и твои чувства неразрывно связаны с этой красотой». Я не мог избавиться от гнета прошлого и в конце концов распродал за гроши всю коллекцию местным антикварам, предлагавшим смехотворные цены. Отчасти заставила меня это сделать и нужда, но, с другой стороны, я просто опасался, что в один какой-нибудь момент я не выдержу и разобью вдребезги все эти

⁶ Мастер второй степени.

вещи. Мать, по-видимому, понимала мои настроения, потому что ни словом не попрекнула меня.

Вскоре умерла и мать. Последними ее словами были: «По правде сказать, я не знаю, кто твои родители. Но кто бы они ни были, верь, что в твоих жилах течет хорошая кровь, и сделайся хорошим человеком».

После ее смерти я уже не чувствовал особой нужды в родственниках, живущих в этом городе, которые тоже не проявляли ко мне больших чувств, и я, буквально в чем был, уехал в Токио.

Ты считаешь меня серьезным человеком, на которого можно положиться. Если бы я рассказал тебе о той беспорядочной и грязной жизни, какую я вел некоторое время в Токио, совершенно позабыв о завещании матери, ты наградил бы меня презрением. Мне стоило немалых усилий добраться до теперешнего уровня: я беспощадно бичевал самого себя; подбодряемый словами матери — единственной оставшейся мне вехой — отчаянно барахтался, чтобы так или иначе встать на ноги и сделаться морально здоровым человеком...

Я боюсь, что уже надоел, но позволь мне еще немного рассказать тебе о характере моих страданий.

Мне придется вернуться несколько назад. Когда я учился в четвертом классе гимназии, учителем японского языка был у нас большой любитель родной литературы. Он познакомил нас с поэзией Басё⁷, особенно с его коротенькими стихотворениями «хайку»⁸, и задал мне написать что-нибудь из моих впечатлений об этом поэте. Я задумал написать целое сочинение и, вернувшись домой, с воодушевлением принялся читать произведения Басё. По счастью, от отца осталось немало книг, посвященных поэзии «хайку». И вот в одной из них я наткнулся на место, которое меня страшно поразило. Ты, может быть, догадываешься, что речь идет о книге Басё «Скелеты в полях — Записки путника». Это место так прочно засело у меня в голове, что я и сейчас могу привести тебе на память, может быть, с небольшими только искажениями. Слушай:

«...Я шел возле реки Фудзикава и увидел на берегу брошенного ребенка лет двух, который жалобно плакал. Кто это не вынес бурных волн реки жизни и бросил тебя, дитя мое, на произвол быстрых волн этой реки, чтобы здесь ждал ты конца своей мимолетной, как роса, жизни? Так цветы вереска ждут, сорвет ли их этой ночью осенний ветер, завянут ли они завтра утром. Я вытащил из рукава остатки пищи, бросил их малютке и пошел прочь. А в душе звучало:

Какова песня осеннего ветра
Над покинутым ребенком
Для того, кто внимал
Надрывным голосам обезьянок?

Да, каково! Возненавидел ли тебя отец, мое дитя, отвернулось ли от тебя сердце матери. Нет, не отец тебя возненавидел и не сердце матери от тебя отвернулось. Это всего лишь небо плачет над тем, что родился ты неудачником...»

⁷ Мацую Басё, поэт и писатель XVII в. (1644—1694).

⁸ Форма стихотворения, состоящего из 17 слогов.

Конечно, я не рискнул коснуться в своем сочинении этой книги «Скелеты в полях». Я написал только ничего не значащие впечатления по поводу двух-трех стихотворений «хайку» и отнес написанное учителю. Но отрывок, который я тебе привел, так потряс мою душу, что я долго не мог оправиться от ошеломившего меня впечатления. Однажды я попробовал задать робкий вопрос этому молодому учителю японского языка с университетским образованием, разумеется, ничего не знавшему о моем положении: «Каким душевным настроением был вызван поступок поэта Басёо?» Учитель как бы мимоходом бросил: «Влияние учения "дзэн". Это совершенно в духе "дзэн"».

Разумеется, ответ этот не дал мне удовлетворения. Я снова принялся за чтение Басёо, а временами пытался разобраться своим несложившимся еще умом гимназиста даже в философии «дзэн», читая толковательные буддийские книги. Понемногу и я стал склоняться к мысли, что проникновенные взгляды «дзэн» на вопросы жизни и смерти в какой-то мере отразились на этом произведении Басёо, приоткрывающем завесу над душевным миром поэта, который постиг какую-то истину, стоящую выше сентиментальных слез. С другой стороны, поскольку мне удалось познакомиться с биографией Басёо, он представлял мне не холодным отрицателем сего мира, достигшим духовного прозрения, а очень человеческой, поражающей своей душевной теплотой, прекрасной личностью. Нет сомнения, что Басёо в описываемой сценке с брошенным ребенком обливался в душе более горячими слезами, чем всякий другой на его месте. И все-таки он оставил ребенка и продолжал свой путь дальше. Чем это можно объяснить? Быть может, Басёо думал, что, подобрав ребенка и избавив его от смерти искусственными человеческими мерами, он тем самым только продлит дни его страданий в этом преходящем мире печали; что гораздо милосерднее поэтому предоставить его воле самой природы; и вот, чувствуя, как у него разрывается сердце от жалости, поэт все-таки решается пройти мимо. Или, может быть, поступком Басёо, по-видимому, постоянно размышлявшего о смерти и бренности мира, двигало то самое чувство мироотрицания, которое исторгло когда-то из груди одного европейского философа возглас: «О, если бы я не родился!» Так это или нет, во всяком случае, приведенный отрывок дал мне почувствовать всю мудрость человека, освободившегося от заблуждений и достигшего высокого духовного прозрения, и всю безграничную теплоту его чувства. Здесь переплелись вместе суровость отца и мягкая ласка матери, которые можно почувствовать сердцем, но сущность которых невозможно передать точным языком идей. Люди, находящиеся во власти идей европейских, могут дать простое объяснение, что в те времена еще не имел распространения дух гуманизма, но такого рода невразумительной меркой невозможно измерить это движение души поэта. Ведь в нем заложена вся глубина японского, даже более — восточного духа.

Так я ломал голову над этим вопросом, который был труден сам по себе и еще более осложнялся в приложении к моей собственной судьбе. В самом деле, если бы мой отец, Носэ Санзоо, достиг того же прозрения, что и Басёо, был бы он в моем случае от этого счастливее или несчастнее? Какой-то смятенный голос в душе говорил мне: «По-

ка ты не найдешь ясного ответа на этот вопрос, тебе нечего и пытаться подойти к внутреннему миру высокого духовного прозрения поэта Басёо».

Но, может быть, Басёо недоступен моему пониманию? Как-то раз я подошел к учителю и с самым невинным видом задал ему вопрос, может ли быть понятен душевный мир Басёо кому-нибудь еще, кроме японцев. Ответ был очень прост: «Конечно, нет. Конечно, нет». Если это так, то я боюсь, что и мне не дано права рассуждать об этом поэте.

Я думаю, что тебе уже надоело слушать всю эту нудную галиматсию, но позволь мне досказать еще немного.

Прежде всего, я не хочу, чтобы ты понимал меня ложно: я не делаю никакого различия между японцами и корейцами; расовая рознь совершенно не играет роли в моих переживаниях. Ведь оба эти народа делились своей кровью с времен глубокой древности. Допустим даже, что я по рождению кореец, — все равно в моей крови есть те же элементы, что и в твоей, а к твоей примешана значительная доля крови моих дедов. Собственно, даже незачем обращаться к временам столь отдаленным. В той жестокой борьбе, которая происходит в мире теперь, мы должны слиться в одно целое, чтобы отстаивать свое право на существование, — по крайней мере, это мое твердое убеждение. Я даже считаю себя вправе думать, что моя ничтожная жизнь, предопределенная с самого начала роком, приобретает глубокое значение как один из камней, заложенных в здание общей судьбы наших народов.

Ты можешь задать вопрос: отчего же, в таком случае, я так терзаюсь? Мне трудно будет дать тебе на это ясный ответ. Быть может, мое состояние возможно назвать чувством одиночества жизни. Я не знаю, как жуки, что размножаются, летая и жужжа в этом сиянии над травой, но мне кажется, что если бы у человека — в его душе и теле — не было чувства связи с первоисточником жизни, то эта жизнь ощущалась бы как пустота и одиночество, подобно неосвященному дому, стоящему в ночной тьме. Где бы я ни родился, к какой бы расе ни принадлежал, какого бы скверного происхождения ни был, — все равно, я хочу знать, чьей утробой я был выношен. И пока я не узнаю, кто передал мне часть своей крови — пусть этих людей уже давно нет на свете, — до тех пор мир для меня не имеет своего центра: он подобен бумажному змею с оборванной ниткой. Всех людей согревает чувство связанности с тем потоком жизни, который уходит от них в бесконечное прошлое. Самые лучшие и высокие идеи в мире, как верность, милосердие, долг, в конце концов, родились и развились из этого чувства. Я же не ощущаю за собою никакого потока жизни. По всей вероятности, я не создам его и после себя. Я просто одинокий камень, брошенный в ночную тьму.

Все, что меня касается, я в общих чертах тебе объяснил.

Я могу только добавить, что и в этой обстановке я стараюсь жить, как все люди, помня завет моей второй матери. Да, еще об одном! Я в самом начале сказал, что обманул тебя. Это требует пояснения. Ты помнишь, как я исчез в конце марта и не появлялся до последнего времени? Это было сделано совсем не потому, что кто-то из моих родственников умер на родине. Все это время я, как тень, бродил по горам и полям Кореи. Надо сказать, что я постоянно подбодряю себя мыслью, что нужно все забыть и жить легко и бездумно, как живут многие люди, но временами бывают срывы, и тогда то темное, что

копошится в глубине сердца, вдруг начинает поднимать голову. Поддерживаемый чувством дружбы к тебе и другим, в последнее время я вел сравнительно здоровую жизнь, а вот тогда не выдержал, сорвался. Ты, наверное, заметил, какое впечатление произвел на меня тогда рассказ «члена похоронной комиссии». Я ни минуты не верил в правдивость его слов, считал их чепухой, бредом наркомана, но он, словно ножом, кольнул мне в сердце, и я заколебался. Через два-три дня я, правда, справился с собою и, в общем, вернулся к состоянию покоя. В последний перед экзаменами день, когда в буран мы бодро с тобою расстались, я вышел на работу.

Был уже поздний час. Я ехал порожняком по пустынным улицам пригорода. Дул сильный ветер, с неба сыпалась какая-то холодная и жесткая крупа. В темноте я заметил продрогшую молодую пару, которая нерешительно делала мне знаки, чтобы я подъехал. По всему было видно, что эта супружеская пара не из богатых. У женщины лежал на руках младенец, завернутый в тонкое одеяло, мужчина, борясь с ветром, держал над ними раскрытый зонт. Они попросили меня отвезти их в город, в лечебницу по детским болезням, притом за очень низкую плату. Направление было для меня невыгодное, но я все-таки согласился. Младенец лежал в забытьи на руках женщины, — по-видимому, он был очень болен. Как только эта семья села в машину, женщина вдруг расплакалась. Мужчина стал утешать ее, но у него самого голос дрожал.

— Столько мучений перенести за это время и вот еще новое, — говорила сквозь слезы женщина.

— Ничего, дорогая, подожди: родители и братья все поймут, — утешал мужчину. Очевидно, любовь свела этих людей, но брак сопровождался разными препятствиями. Иногда мужчина подгонял меня, чтобы я ехал скорее, но женщина сквозь слезы говорила: «Нет, нет, пожалуйста потише». Иногда, наоборот, принималась торопить женщина. Тогда мужчина говорил: «Будет трясти, не надо». Никогда мне не было так трудно управлять машиной, как в тот раз. Ребенок продолжал находиться в состоянии забытья. Мать плачущим голосом говорила: «Он ведь будет жить, правда, будет? Посмотри сюда, моя детка, видишь вот это, видишь?»

В зеркальце над рулем мне было видно, как она усиленно размахивала над головой младенца не то гвоздикой, не то еще каким-то красным цветком. Должно быть, она желала пробудить сознание ребенка, смотревшего прямо перед собой бессмысленными глазками. Этот завядший цветок не выходил у меня из головы ни тогда, когда я правил машиной, ни потом, когда я, высадив супругов перед больницей, возвращался домой. Нельзя было думать, чтобы ребенок ясно видел этот цветок, но если он остался жив, то это красное пятно, запечатлевшись где-то в самой глубине его сознания, несомненно, останется жить и дальше, став для него центральной точкой всего мира. Если же ребенок не выжил, то он унес с собой в мрачную пропасть смерти это красное пятно, которое будет там гореть так же, как горело оно в черной тьме бурана.

Через несколько дней, сдав экзамены, я раздобыл средства на дорогу и отправился в Корею. Я приехал в тот город, где я вырос, и долго бродил по его окрестностям, пытаясь отыскать свое «пятно». Конечно, это был напрасный труд. Но когда-нибудь я все-таки добьюсь своего, пусть для этого пришлось бы перешарить всю траву в полях...

Когда Носэ Тацумару окончил свой рассказ, день уже померк, а море и трава на скале подернулись зеленоватым туманом. Я не знал, что сказать по поводу услышанного, и лишь молчаливо кивнул головой. Носэ вдруг приблизил ко мне свое лицо и пристально заглянул мне в глаза. Мне почудилась в этом просьба, чтобы я сказал, кого он напоминает. В зеленоватом вечернем воздухе я ответил ему таким же пристальным взглядом. Правильные черты его лица могли принадлежать любому племени: национальность уже не имела над ним силы. Продолжая хранить молчание, я положил руку на плечо Носэ, и мы спустились со скалы к нашим грузовикам.

Вернувшись в Токио, мы не расстались: Носэ остался у меня в гостинице, и мы проговорили с ним всю ночь. Едва ли нужно говорить, что наша дружба после того окрепла еще больше. Вскоре Носэ и совсем переехал ко мне в гостиницу. Здесь мы провели вместе несколько месяцев, поддерживая друг друга и делаясь последней копеечкой. Можно было бы многое рассказать об этой нашей совместной жизни, но я ограничусь одним случаем.

Я уже говорил, что Носэ служил сначала в магазине автомобильных принадлежностей, но вынужден был оставить службу благодаря одному обстоятельству. Это обстоятельство мне удалось, наконец, выяснить. Дело в том, что у молодого хозяина магазина была сестра. Я воздержусь называть ее настоящее имя и назову ее условно Ханako. После того как Носэ переселился ко мне, Ханako часто стала появляться в гостинице. Вскоре я уже знал, что Ханako была один раз замужем, но скоро рассталась с мужем, у которого был невыносимый характер, и стала работать в магазине брата, усердно помогая ему. Ей было не более двадцати пяти, но выглядела она значительно старше своего возраста. Может быть, наложили свой отпечаток страдания, перенесенные ею в замужестве, а может быть, несколько старила самая наружность: Ханako не применяла косметик, завязывала волосы на голове простым узлом, носила неяркие платья, и даже европейский костюм на ней, лишенный всяких украшений, более напоминал форму конторской служащей. Несмотря на все это, в ее смуглом лице с правильным носом, в ее стройной фигуре, во всех ее движениях чувствовалось глубокое очарование женщины, хорошо знающей мир. Впрочем, я воздержусь говорить много об очаровании Ханako. Ведь я совершенно посторонний, никакого к ней отношения не имеющий человек.

Едва ли нужно упоминать, что Ханako была сильно увлечена Носэ. Она появлялась в нашей гостинице при всяком удобном случае, приносила с собой вкусные вещи, приводила в порядок одежду и комнату Носэ. За компанию пользовался ее услугами и я.

Каково же было отношение к ней самого Носэ? Надо сказать, довольно холодное. Его переезд ко мне в гостиницу был вызван желанием еще больше сблизиться со мною, но вместе с тем имелась и еще одна причина: желание отойти от Ханako. Переезжая, он даже не сообщил ей нового адреса. Ханako все-таки разыскала его и стала снова появляться у Носэ. Имея в виду ее скромный и сдержанный характер, ее никак нельзя было поставить на одну доску с девушками легкомысленными, навязывающими свою любовь: чувство ее было глубокое и как-то удивительно трогательное. Носэ, в свою очередь, не оставался совершенно равнодушным к ее любви, — по крайней мере, нельзя ска-

зять, что он не питал к ней благодарности. Скажу больше, когда мне приходилось ловить их взгляды, я чувствовал иногда, что сам не могу сдержать душевного волнения. В глазах Ханako горел огонь, и все тело ее, казалось, готово было в нем расплавиться. Но и глаза Носэ тоже горели необычайным блеском. Когда сердца их вели таким образом безмолвную беседу, даже мне, не отличающемуся большой чуткостью, начинало казаться, что комната озарена светом какого-то незримого пламени.

Отчего же Носэ подавлял свое чувство и вопреки ему даже старался казаться холодным, по крайней мере, внешне — в своих словах и поступках? Едва ли это нуждается в объяснениях.

Один раз я не выдержал и попробовал дружески если не пожурить, то поговорить с Носэ. Он мне ответил:

— Ее расположение ко мне хорошо мне известно. Я тоже к ней очень расположен. Но в моем состоянии было бы просто безумием связывать наши судьбы.

— Отчего же ты откровенно не расскажешь ей всего? Она ведь не из тех, у которых чувство разрушается из-за таких вещей, — возразил я.

— Ты так думаешь? — ответил грустно Носэ и покачал головой.

— Что там думать! Скажи, пожалуйста, какая неуверенность! Или, может быть, ты стыдишься своего происхождения? Ведь ты же уже несколько раз говорил мне, что не стыдишься. Другое дело, если бы ты запятнал себя каким-нибудь поступком или в твоем характере коренились какие-нибудь пороки, но как можно стыдиться того, в чем ты не виноват? — говорил я.

— Ты прав, но дело не в этом. Это еще ничего, если бы она, узнав обо мне все, просто отошла от меня. Я боюсь другого: что она сумеет все понять и со всем примириться, как говоришь и ты. Но представь тогда мое состояние: мои мучения от этого только увеличатся, мы вступим на путь, на котором никогда я не смогу сделать ее счастливой.

На это возражение я выбросил последний козырь:

— Я понимаю, что с твоим характером это очень возможно. Хорошо, тогда я при удобном случае сам поговорю с Ханako. А если она все-таки будет на все согласна, поручаешь ли ты мне устраивать дальнейшее?

Носэ молчал.

Я призвал на помощь весь свой ум и продолжал вести наступление:

— Вот ты говорил, что ты одинокий камень, что у тебя нет связи с жизнью, тебе предшествовавшей. Хорошо, пусть так, но отчего тебе не начать новую линию от себя, отчего ты не сотворишь нового потока жизни, который длился бы после тебя бесконечно, как об этом говорится в мифологии?

Носэ, наконец, сдался:

— Хорошо, я понял. Но я прошу тебя, подожди еще немного. Не говори ей пока ничего, дай мне подумать. Я ничего не буду стыдиться. Но давай отложим это, пока я не установлю достоверно, кто произвел меня на свет, — пусть для этого мне нужно будет перешарить всю траву на родине.

— Нет, как твой друг, я не могу на это согласиться, — горячо возразил я. — Что же — и тебе и Ханako ждать до седых волос, а то, может быть, и до могилы? Это хорошо только для любви в легендах.

Носэ, однако, стоял на своем.

— Рано или поздно решение придет, уверяю тебя. Но все-таки дай мне подумать еще некоторое время.

Мне, как третьему лицу, не оставалось ничего иного, как ретироваться.

Между тем Ханako не переставала появляться в нашей гостинице. С наступлением лета ее посещения даже участились. Носэ, наконец, не выдержал и однажды заявил мне, что хочет съехать из этой гостиницы, так как еще немного, и он не устоит, сдастся.

— Ну и сдавайся, вот и хорошо, — одобрил я, но Носэ был непреклонен:

— Ты не бойся, я не пойду бродить по Корее. Я буду работать в Токио и держать связь с тобой. Мне только нужно остаться одному, чтобы передумать многое и обрести душевный покой.

На этом мы расстались. Носэ, однако, не сдержал обещания и не сообщил мне нового места жительства. Трудно было рассчитывать, летая на автомобиле по огромному городу, на случайную встречу с ним. Я уже начал подумывать, не раскрыть ли Ханako всю правду, но данное обещание удерживало. Я решил ждать момента, когда Носэ сам появится с радостным известием, что все разрешилось.

Между тем наступила уже середина лета, а Носэ и не думал показываться. У меня все меньше оставалось веры в удачное разрешение столь трудного вопроса, я стал тревожиться, как бы Носэ не предпринял в отчаянии каких-нибудь необдуманных шагов. Я даже сомневался, находится ли он в Токио.

Это мучительное состояние было нарушено движением руки какой-то огромной, вне нас стоящей силы, которая одним могучим толчком вывела нас из застоя и все разрешила до конца.

В конце лета — это было на рассвете одного дня — Носэ ворвался ко мне в комнату, откинул полог сетки от комаров, под которой я спал, и больно ударил меня по плечу.

— Уезжаю! — воскликнул он.

Я протер глаза и с испугом посмотрел на Носэ. Лицо его, да и вся его фигура, светились какой-то решимостью. Я забыл сказать, что случилось это в то лето, когда вспыхнули китайские события. Все остальное, я думаю, вам понятно.

Вечером того же дня Носэ уезжал на фронт с вокзала Токио. Он сам решительным голосом заговорил со мною о Ханako, не дожидаясь, когда начну разговор я:

— Вот теперь я чувствую в себе мужество и уверенность открыть Ханako все, если вернусь с фронта живым, — сказал он и добавил, чтобы я не сообщал пока Ханako об его отъезде.

Я, однако, не удержался, чтобы тайком не позвонить Ханako по телефону.

Вам, вероятно, самому приходилось быть очевидцем, что творилось в те дни на вокзалах Токио и Уэно, которые буквально кишели огромными толпами провожающих. Вместе со мною и Ханako пришли проводить Носэ еще несколько человек его друзей, но людские волны

разнесли нас в разные стороны. От бесконечных веренищ флагов темно в глазах, а от возбужденных возгласов толпы кровь прилиwała к голове.

Разумеется, нам не только не удалось поговорить с Носэ на прощанье, но даже и перекинуться с ним короткими приветствиями. Я лишь на миг увидел лицо Носэ в окне вагона и успел заметить его выражение: Носэ был взволнован, но ничто не омрачало его лица, словно тот мучительный ком, который постоянно стоял у него в груди, был разбит на куски чьим-то молотом.

Покинув вокзал, я отыскал Ханакo и почти бросился к ней, взволнованно крикнув, что теперь-то из всего этого родится нечто прекрасное. Не знаю, как она поняла мои слова.

Солдат второго разряда специальной службы дополнительных родов оружия — таково было новое звание Носэ, зачисленного шофером в обоз. Он аккуратно писал мне письма, по которым можно было бы подробно судить о всей его дальнейшей деятельности, но я стараюсь быть кратким.

Сначала, по-видимому, путь его лежал через Корею, однако, в письмах оттуда — сознательно или бессознательно, не знаю — он писал о себе очень неясно. Когда же попал в Северный Китай, а затем в провинцию Шаньси, сведения, им сообщавшиеся, стали определеннее и обстоятельнее: в одном письме говорилось, как ему приходилось на руках вытаскивать грузовик, совершенно потонувший в грязи; в другом — какой лакомой приманкой служит для неприятеля их обоз, несущий связь между базой и передовой линией, и как он сражается при внезапных нападениях неприятельских отрядов; в третьем — как на своих плечах приходится иногда перетаскивать грузовые машины через горы и как это мучительно — мясо на плечах от костей отстает! Во всех этих письмах чувствовалось, как чья-то могучая воля постепенно выковывает из Носэ сильного человека, как через внутренние страдания постепенно выбивается и растет в нем росток светлой и здоровой жизни, как расходятся над его головой мрачные облака и уже проглядывает ясное небо.

Но в письмах, приходивших со стоянок под открытым небом во время светлых лунных ночей, либо в тех, где сообщалось, как раненые солдаты в тяжелых мучениях призывают имя матери, иногда можно было почувствовать, что рядом с Носэ, ведущим сильную и здоровую борьбу в числе других единиц, составляющих единую и цельную волю, где отдельная личность растворилась без остатка, — продолжает существовать еще и другой Носэ, в глубине души которого еще не совсем заглохла прежняя мучительная борьба.

Но пришел конец и этому. В конце зимы следующего года отряд, где служил Носэ, был окружен во время продвижения через горы Шаньси многотысячным неприятелем и, пока подоспело подкрепление, потерял в жестоком бою более пятидесяти человек убитыми и более тридцати человек ранеными. В числе убитых значился и Носэ.

Это было уже потом, — я разыскал вернувшегося с фронта одного тяжелораненого и попытался узнать, не видел ли он конца Носэ. К этому времени я уже работал в газете, и вопрос мой носил характер чисто профессиональный. Я выслушал от раненого следующий рассказ:

— Я сам был тяжело ранен, поэтому не могу сказать ничего определенного, но когда я под сосредоточенным огнем взбирался на насыпь и залег посредине откоса, я увидел, что из цепи, наступающей

впереди на неприятеля, выделилась группа смельчаков, которая несколько раз самоотверженно бросалась в атаку. Каждый раз из ее рядов катилось с насыпи вниз на пшеничное поле по несколько человек, сраженных неприятельскими пулями. Иные падали с пробитой головой, успев поднять обе руки и прокричать: «Его Величеству Императору банзай!» Другие исторгали из простреленной груди последний крик: «Убит в бою солдат первого разряда такой-то!» Возможно, что Носэ находился среди этой группы, но сказать наверное не могу.

В самом деле, — впрочем, это мое личное соображение, подсказанное мне внутренним чувством, так как сам я через этот опыт не прошел, — быть может, не совсем разумно расспрашивать о поведении отдельной личности в бою, который велся единым коллективом, движимым единой волей. Ведь в такие моменты индивидуальные признаки, как «юноша с прекрасной наружностью» либо «человек по имени Носэ, носивший в груди большое страдание», перестают существовать. Если так, то бессмысленно также добиваться, действительно ли находился Носэ в рядах этой самоотверженной группы смельчаков. Вместе с тем, и по тем же самым причинам, можно смело думать, что Носэ был именно одним из тех солдат, которые падали с откоса в пшеничное поле, сраженные неприятельскими пулями.

Здесь рассказ мой снова возвращается несколько назад. Как только было получено известие о смерти Носэ, я пошел к Ханako и, собравшись с духом, рассказал ей всю историю. Ханako выслушала с напряженным выражением лица, выдававшим огромное внутреннее волнение, — слишком глубокое, чтобы она позволила дать волю слезам. Я думаю, что Ханako поняла все: и глубину страданий, перенесенных Носэ с детского возраста, и его серьезное отношение к ней, вылившееся в его внешнем поведении, и величественный и строгий смысл его смерти на поле сражения.

Я ни разу не встречался после того с Ханako, но слышал, что она продолжает усердно работать в магазине, а в последнее время до меня даже дошел слух, что она собирается выходить замуж за хорошего человека. Подробностей, однако, я не знаю.

...Вчера в редакции газеты я получил распоряжение собрать живой материал для статьи «Новая структура и жизнь улицы». Я обегал все увеселительные места, побывал на реке, где наблюдал жизнь лодочников на судах мелкого транспорта, зашел даже в «Общество шоферов», где работал прежде. В конторке я узнал, что никаких особенных перемен за это время не случилось. В помещении шоферов сидело несколько фигур, одетых большей частью в национальный костюм военного времени, — это была самая крупная перемена. Пока я обменивался приветствиями со старыми знакомыми, со второго этажа спустилась хозяйка. «Члена похоронной комиссии» не было, но «инженер-от-санитарии», как всегда, с солидным видом сидел за партией в «го». Меня подмывало сильное желание завести разговор о Носэ с хозяйкой и с теми из шоферов, которые его знали, но настроение у меня как-то вдруг упало. Не проронив о Носэ ни слова, я покинул помещение общества. Быть может, неудовлетворенное желание и было причиной того, что я поведал вам эту историю.